Владимир Контор

Письмена времени

Посреди времен, или Карта моей памяти

Письмена времени

Владимир Кантор

Посреди времен, или Карта моей памяти

«ЦГИ Принт»

2015

УДК 130.2
ББК 83.3

Кантор В. К.

Посреди времен, или Карта моей памяти / В. К. Кантор — «ЦГИ Принт», 2015 — (Письмена времени)

В новой книге Владимира Кантора, писателя и философа, доктора философских наук, ординарного профессора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ-ВШЭ), члена Союза российских писателей, члена редколлегии журнала «Вопросы философии» читатель найдет мемуарные зарисовки из жизни российских интеллектуалов советского и постсоветского периодов. Комические сцены сопровождаются ироническими, но вполне серьезными размышлениями автора о политических и житейских ситуациях. Заметить идиотизм и комизм человеческой жизни, на взгляд автора, может лишь человек, находящийся внутри ситуации и одновременно вне ее, т. е. позиции находимости-вненаходимости. Книга ориентирована на достаточно широкий круг людей, не разучившихся читать. Значительная часть публикуемых здесь текстов была напечатана в интернет-журнале «Гефтер». В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 130.2
ББК 83.3

© Кантор В. К., 2015
© ЦГИ Принт, 2015

Содержание

1. Писатель и философ Владимир Кантор 6
О жизни, выходящей из ряда… 18
2. Попутное слово 18
I 18
II 19
3. Реальность той стороны луны. Мой дядя Алексей Коробицин, разведчик 22
Конец ознакомительного фрагмента. 40

Владимир Кантор
Посреди времен, или Карта моей памяти
Литературно-философские опыты (жизнь в разных срезах)

Время – движущееся подобие вечности
Платон

Насколько она увеличится – не знаю.
Пока это всего лишь наброски к большой карте.
Раз в Стране Чудес,
Там, на грани сна,
Где как гром с небес
Что ни год – война,
Где вокруг тюрьмы
Колокольный звон,
Жили-были мы
Посреди времен.
Дмитрий Кантор

Существуют географические карты, карты политические, дорожные карты, карты памяти мобильных телефонов и компьютеров, наконец, карты игральные.

Перед читателем карта моей памяти, моей собственной, которую я заполняю по мере моих сил и свободного времени.

1. Писатель и философ Владимир Кантор Интервью с Виктором Шендеровичем, Радио «Свобода» 26.02.2006

Виктор Шендерович. Этот разговор происходит не в воскресенье, а за несколько дней до этого. Поэтому, как вы понимаете, мы выходим в записи, и вы не сможете принимать участия в моем разговоре с философом Владимиром Кантором. Добрый день, Владимир Карлович.

Владимир Кантор. Добрый день.

Виктор Шендерович. Первый вопрос – детский. Первый раз у меня в студии человек, – то есть много было здесь людей, которых можно вполне назвать практикующими философами, но впервые в студии – человек, у которого так называется специальность, профессия такая – философ. В детстве не было такого, что в школе слово «философ» употреблялось бы в презрительной коннотации, не было синонимом слова «демагог», «болтун»?..

Владимир Кантор. Вы знаете, нет. По многим причинам. Во- первых, я никогда в детстве не считал себя философом, хотя был из философской семьи – у меня отец философ профессиональный. А дед мой, который был профессор геологии, правда, не здесь, а в Аргентине, поступил в свое время на первый курс философского факультета и прошел весь цикл. Таким образом, настолько семейное дело, почти как коза ностра. К сожалению, и дед, и отец не имели никаких профессиональных как философы постов, я не знаю, как назвать… мест работы.

Виктор Шендерович. Вы меня заинтриговали этой частью биографии. Я мало что знаю про Вашу биографию. Расскажите, как отсюда в Аргентину и в какие годы – это я примерно представляю, а как из Аргентины сюда?

Владимир Кантор. В 1926 г. вернулись. Потому что было почувствовано и подумано, что здесь действительно страна, которая осуществила прорыв к свободе, и счастье человечества куется здесь. Поэтому в 37-м или 38-м деда посадили, разумеется.

Виктор Шендерович. В общем, было бы странно, если бы нет. Чьим он «шпионом» был?

Владимир Кантор. Его назвали троцкистом, судя по обвинениям, которые были в газетах тогда, одна из них у меня сохранилась. Он сидел недолго, вышел перед войной, так что всех прелестей он не вкусил. Но хватило.

Виктор Шендерович. Хватило, чтобы понять что-то про ту идею, для которой сюда приехал?

Владимир Кантор. Мне трудно говорить, я деда не застал, вернее, он умер, когда мне был год, так что я общаться с ним не смог. Он уехал сразу после выпуска, когда его выпустили, в эвакуацию, т. е. тоже была ситуация не рабочая, он уже не работал никак. Поэтому про идею я не знаю. Я знаю по рассказам отца, когда он приехал, отец был в комсомольском возрасте и любил, естественно, левую поэзию, Маяковского и так далее. Дед купил себе шеститомник Пушкина. Может быть, вы помните, был такой академический, кажется, первый шеститомник.

Виктор Шендерович. Не застал. Я уже застал 10-томник.

Владимир Кантор. Понятно. Вот я шеститомник помню, он стоял у нас дома.

Виктор Шендерович. Сколько Вам лет? Такой дурацкий вопрос.

Владимир Кантор. Мне 60.

Виктор Шендерович. Ого!

Владимир Кантор. Мне немало.

Виктор Шендерович. Нет, мое «ого» относится к тому, что я был склонен думать, что мы ровесники.

Владимир Кантор. А Вам сколько?

Виктор Шендерович. Мне 48. Ну, в общем, ровесники.

Владимир Кантор. Почти. От деда остались книги по философии на немецком языке – Кант, Гегель, которые он читал, естественно, в подлиннике. А я мальчишкой смотрел и думал: на фига мне все это? – думал я. Никогда не думал, что судьба меня приведет именно к этим занятиям.

Виктор Шендерович. Зачем? Это вопрос досужий, вопрос обывательский. Но действительно, я очень хорошо помню, что мне было сильно под сорок, когда я впервые задумался о практической пользе знания философии и – в отношении себя – о практическом вреде ее незнания. Вдруг оказалось, мне показалось, что это имеет отношение к жизни, а не только к тому, чтобы сдать зачет и забыть об этом навсегда. Вы, как я понимаю, довольно рано почувствовали вкус к этому как к профессии?

Владимир Кантор. Вы знаете, нет, и это не так. Я почувствовал вкус к писательству. Я автор многих романов и даже лауреат некоторых премий и зарубежных, и российских, как писатель. Но поскольку до перестройки я был абсолютно непубликуемый писатель и невыездной философ, то философией я занимался для себя, писал я тоже в стол. Но я понимал одно, что в России, да и не только в России, на самом деле писатель не может писать хорошо или, вернее, осмысленно, так я бы сказал, не пытаясь размышлять о мире, самостоятельно размышлять. А философия может быть единственная из наук… Она вообще не наука, строго говоря, любовь к мудрости – философия. Очень скромно себя философы назвали: мы не мудрецы, говорили они, мы любители – мы любим мудрость. И философия дает возможность и способность, если ты действительно что-то усвоил, самостоятельно мыслить, вот и все. Для этого, конечно, не надо знать, условно говоря, Платона, Декарта или что-то еще, не знаю, Соловьёва, Достоевского, но это ход к тому, чтобы постигать. Часто говорят – философ может говорить на любую тему. Ну, наверное, может. Хотя тоже это несправедливо. Я не люблю говорить на те темы, о которых я не знаю. Потому что в то, что я знаю, я могу привносить философский поворот. Но то, о чем я говорю, я всегда говорю как профессионал, только о тех вещах, которыми я занимался, которые я понимаю, давая, если угодно, некий уровень другой.

Виктор Шендерович. Дед был геолог по специальности. У Вас есть какое-то знание о мире предметное, естественно-научное?

Владимир Кантор. Естественно-научного нет. Я кончал, вообще- то говоря, не философский, а филологический факультет, и я занимаюсь историей русской культуры, литературы. Я автор многих книг и по истории культуры, и по истории русской литературы, помимо всего остального. Так что у меня есть профессия.

Виктор Шендерович. Скромно сказал Владимир Кантор.

Владимир Кантор. Ну, в общем, да.

Виктор Шендерович. Сегодняшнее, я недавно читал, надеюсь, не я один, замечательное даже не интервью, беседу с нашим общим другом Леонидом Никитинским. И меня действительно порадовал такой, как ни странно, оптимистический взгляд на происходящее, не на конкретно происходящее, не в малом времени, как говорится. Вы довольно спокойно – или это такое впечатление производило, что Вы довольно спокойно, – относитесь к тому откату, который сейчас происходит, совершенно очевидному возвращению куда-то в те времена, из которых вышли наши дедушки и бабушки. Вам это кажется естественным и временным явлением. Если я правильно понял ощущение. В Вас нет такого апокалиптического драматизма в связи с этим.

Владимир Кантор. Вы знаете, одна моя знакомая говорила, что я человек с катастрофическим сознанием.

Виктор Шендерович. Вы?

Владимир Кантор: Да. Как раз, если Вы почитаете мою прозу, Вы увидите, что там много апокалиптических предчувствий. Скажем, роман «Крокодил» вышел почти накануне

ГКЧП. Как-то мне сказала жена: «Ты всегда предсказываешь». Я говорю: «Что же я предсказал?» Этот разговор был вечером, утром мы включили телевизор – ГКЧП. «Вот тебе и крокодил», – сказала жена. Извините, я все-таки на Ваш вопрос отвечу. Я немножко помудрел с возрастом, все-таки 60 – это уже предполагает не только любовь к мудрости.

Виктор Шендерович. Но и самую мудрость.

Владимир Кантор: Возможно, и самою мудрость. Я понимаю одно, что история не только России, вообще мировая история полна и откатов, и возвратов, и переходных периодов. У нас говорят – сейчас переходный период. В России всегда переходный период, у нее не было периодов не переходных. Возьмем реформы Александра II, возьмем Николая II, революцию, 30-е – это все переходные периоды. Субъективно, конечно, хочется жить при свободе, демократии и благосостоянии. Естественное желание любого нормального человека. Вместе с тем я понимаю одно, что если не произойдет какого-то непоправимого сдвига исторического, т. е. когда кончится история, кончится человечество, то и это переходный период, и мы к чему-то другому придем. Мы не возвращаемся к тому, что было, хотя внешне, конечно, на это похоже. Похоже, по знаковым каким-то выражениям, гимнам и так далее, другим вещам, по телевизору, который стал невыносим абсолютно, потому что за редким исключением смотреть там просто нечего, информации никакой, она абсолютно нулевая. Я понимаю при этом, что это совершенно не похоже даже на хрущёвское время, даже на брежневское время. Потому что, я думаю, что брежневское время вы все- таки помните.

Виктор Шендерович. Да уж.

Владимир Кантор. И помните, как порой в какой-нибудь компании, особенно за хорошей рюмкой водки язык развязывается, и ты говоришь, говоришь, а утром судорожно вспоминаешь: а кто же был четвертый? Сейчас такого нет все-таки.

Виктор Шендерович. Нет, конечно, нет. Выступая в качестве, привычном для себя в этой студии, адвоката дьявола, я хочу сказать, что банальная вещь, что 37-й год тоже не сразу стал 37-м, перед ним были 27-й, 32-й, т. е. все это тоже случилось не сразу. И были времена и на уровне 28-го года какого-нибудь, когда разговаривать можно, только пресса вся либо в эмиграции, либо… В общем, в эмиграции, но еще не уничтожена вроде бы, т. е. таких массовых, по крайней мере, репрессий нет, но уже государственная. И национализация, и партии свернуты. Вот 28-ой год. В этом смысле, конечно, мы, может быть, из нашего 28-го года не пойдем в 37-й, я надеюсь на это очень сильно. Все-таки действительно – Интернета не было, спутникового телевидения не было, свободы перемещения уже, в скобках – еще. Но какие-то штрихи очень похожие.

Владимир Кантор. Дело даже не в Интернете, я думаю, и не в телевидении спутниковом, и ни в чем, а в страхе элиты. Элита помнит, шкурой помнит, что было, когда вся элита ушла под нож, ушла под гильотину.

Виктор Шендерович. У Вас есть надежда на интеллект этой элиты?

Владимир Кантор. На интеллект надежды никакой – на шкуру, на ощущение того, что они должны чувствовать, как в какой-то момент механизм начинает работать и их может начать затягивать этой машиной.

Виктор Шендерович. Должны.

Владимир Кантор. И потом еще одна вещь весьма существенная, которая была у той элиты и абсолютно нет у этой. Она так тщательно пытается, дуется как лягушка, которая пыталась стать волом, придумать национальную или еще какую-нибудь идею, а там была идея. И не случайно эту эпоху и в России, и в Германии, и в европейской культуре называют эпохой идеократий. Правили идеи. Что за ними стояло – это другой разговор, это отдельный разговор, об этом тоже можно говорить. Но на идею опирались, идея структурировала поведение и властных элит, и народа в том числе. Массы, «народ» нельзя говорить, речь идет о массе. Что, собственно, и к сегодняшней ситуации относится, скорее мы имеем дело с прежними социаль-

ными структурами: это структуры власти и массы. Австрийский писатель и философ Элиас Канетти назвал так свою главную книгу – «Масса и власть», здесь может быть наиболее точное определение ситуации последних двух веков.

Виктор Шендерович. Простите, уйдем в боковую аллею, как говорится, очень интересная точка. Есть какое-то определение у Вас или может быть у Ваших коллег, точное определение, где масса становится народом или где народ становится массой?

Владимир Кантор. Томас Манн однажды замечательно сказал, что когда народ хотят обмануть, его вместо массы начинают называть народом. Я не знаю, что такое народ, можно ли назвать народом крестьянство, рабочих. Что такое народ – мне не очень понятно, потому что народ сам не очень это понимает. Когда началось движение народа в верхние этажи власти, я имею в виду еще не Октябрьскую революцию, а перед этим, когда отдельные персонажи, условно говоря, типа Ломоносова выбивались вверх, они как раз не думали, что они народ, они думали о себе как о личностях.

И проблема, собственно, простая: массы – это там, где отсутствует личность, естественно. Масса – это та самая толпа. Мы знаем, есть понятие психологического пространства вокруг каждого человека, мы стараемся по возможности сохранить его, толпа лишает нас этого психологического пространства, масса лишает. Но когда это уходит, когда «каплею льешься с массами», как говорил известный поэт, вот тогда тебе уже и не нужно этого пространства, потому что ты перестаешь быть личностью. Пространство нужно только личности. И когда народ начинают называть народом и к нему апеллируют как к народу, тем самым апеллируют, строго говоря, к его неким неправовым структурам сознания. Потому что я могу апеллировать к закону.

Виктор Шендерович. Это понятно, к чему ты апеллируешь.

Владимир Кантор. Это нормально. Я не апеллирую к народу, иначе я бы апеллировал к чему-то противозаконному. Я не могу апеллировать к народу как к высшей инстанции – это нелепость.

Виктор Шендерович. В конституции народ назван источником власти.

Владимир Кантор. Правильно. Но это только тогда работает, когда и над народом, и над властью есть закон. Если закона нет, то любые апелляции к народу абсолютно демагогичны.

Виктор Шендерович. Мы диалектику учили не только не по Гегелю, но и не по Канту, поэтому тот самый закон, который над нами, значит твердый и недвижный…

Владимир Кантор. У нас его просто нет, к сожалению. Но я вспоминаю споры вокруг Третьей Государственной думы. Помните такую, естественно.

Виктор Шендерович. Я не застал, но рассказывали.

Владимир Кантор. Я понимаю. Я тоже не застал, но тоже рассказывали. Так вот там удивительное наблюдение одного из персонажей, которые принимали участие в этой Думе, думаков тогдашних или, как их тогда называли, думцев. Он говорит, что поначалу самодержец был над законом, но поразительно, что когда пришли выборные от народа, они тоже решили стать над законом. Потому-де, мы выражаем волю народа. Волю какого народа? Что есть народ? Народ – такое абстрактное понятие, некая бессмыслица. Я выражаю пскопских – понятно. Я выражаю волю москвичей – понятно. Я выражаю волю народа. Какого народа? Это что? Как говорил Чернышевский, очень любимый мною философ, который, к сожалению, в сознании масс загублен разнообразными над ним вивисекциями, он спрашивал, отчего это у нас считают, что народ всегда прав? И говорил: разве народ – это собрание римских пап, существ непогрешительных? Почему? Что это за апелляция странная?

Виктор Шендерович. Тем не менее выбор довольно небольшой у человечества: либо власть народа, демократия, та самая, про которую Черчилль сказал, что она ужасна, но все остальное действительно еще отвратительней. Либо все-таки попытка найти, вычленить из себя какую-то элиту и довериться ей. Но опыт, по крайней мере XX в. показал, что всякий раз,

когда мы, человечество – в России, в Германии, где угодно, – пыталось отставить в сторону скучные демократические механизмы и перейти к правлению с помощью непосредственно элиты, то эта элита оказывалась деспотичной вплоть до Пол Пота.

Владимир Кантор. Если говорить о таких материях, я позволю себе еще три минуты занять. Демократия родилась в Греции. Вы представляете, что такое полис? Это маленький город, очень маленький, даже Афины были крошечным городом, в котором бегали свиньи, которые однажды сбили с ног Сократа с учениками. Можете вообразить маленький городок, узкие улочки и так далее. Вот там родилось понятие демократии. Это демократия, когда я знаю вас, знаю соседа, я знаю всех. И то эта демократия умудрилась приговорить Сократа к смерти. Собственно, вся попытка Платона придумать идеальное некое государство есть попытка придумать такой социум, который не даст возможности убить Сократа, в итоге он придумал тоталитарное государство. Потому что демократия, как он полагал, в итоге ведет и к этому тоже – к убийству Сократа. Но там хотя бы было понятно правление народа. Когда появляются большие массы, власть народа становится бессмысленной, потому что масса не может руководить процессом.

Виктор Шендерович. Ну да, слишком… Непонятно, где рычаг.

Владимир Кантор. Непонятно, где рычаг, непонятно, кто руководит. Я не могу сказать: Виктор Анатольевич, я Вас прошу продумать ваш вопрос. Потому что Вы живете, предположим, в Питере, ибо, условно говоря, скажем, самая близкая точка от нас – Питер. Как когда-то говорили русские остроумцы: у нас между мыслью и мыслью пятьсот верст, имея в виду расстояние от Петербурга до Москвы. В огромной стране это невозможно. Даже в такой стране, как Германия, Польша, где за 30 миллионов зашкаливает, это невозможно. И Европа прошла в свое время, как хорошо показано некоторыми философами, в давние и не очень давние столетия школу либерализма, когда демократия пропущена через либеральную идею об ответственности человека перед законом, вот тогда она начинает работать как демократия. Потому что если просто правление демоса – то это безумие.

Виктор Шендерович. Понимаете, какая штука, история печальная, из Ваших слов вырисовывается картинка, старая история про курицу и яйцо. Как бы завести такой народ, в котором была бы власть этого народа, но перед этим он пропитался бы либеральными ценностями. Но откуда же ему пропитаться либеральными ценностями, если он будет переходить от Пол Пота к Ким Чен Иру, далее везде.

Владимир Кантор. Понятно. Вы знаете, вообще исторический процесс – процесс невеселый. Это, как мы знаем, Вы вспомнили Пол Пота и Ким Чен Ира, мы можем вспомнить…

Виктор Шендерович. И своих.

Владимир Кантор. И своих персонажей, и западных персонажей в большом количестве. Чего стоит XX век – будь здоров, а Французская революция, которая казнила не только людей, но и статуи. Вы знаете, что они статуи казнили? Статуи знати, статуи королей, статуи святых.

Виктор Шендерович. Но это как раз то самое идеологическое время, казнили идеологию.

Владимир Кантор. Вообще Французская революция – это отдельная песня. Когда она сформулировала равенство нации и государства, она дала толчок будущему нацизму Гитлера. Отсюда пошло.

Виктор Шендерович. Ого!

Владимир Кантор. На мой взгляд, да.

Виктор Шендерович. Давайте это расшифруем. У нас минутка до этого отрезка эфира. Давайте начнем здесь и продолжим после.

Владимир Кантор. Попробуем. Дело в том, что до этого Европа называлась «корпус христианум». Христианство – это наднациональная религия: нет ни эллина, ни иудея. И когда Франция, Французская революция секуляризировала государственные отношения и убрала

христианство или, по крайней мере, наднациональную идею христианства из сознания, из правового поля, откуда угодно, и поставила знак равенства между выражениями «француз» и «французское государство», то дальше следовало все что угодно. Потому что, если ты не француз, а, условно говоря, нормандец – а это немножко другое, а если ты из какой-нибудь другой области, британец (Британия же восстала тогда при Французской революции) – уже враг. И в итоге это доходит до нацизма гитлеровского, где было поставлено полное равенство между нацией и государством – и кто не ариец. Гитлер поставил немножко шире, расово обозначил проблему, но смысл был именно этот: немецкое государство, немецкий солдат, немецкая женщина рождает настоящих воинов. И что сверх этого, то враждебно, естественно. Вообще тема национализма, она одна из самых, на мой взгляд, катастрофических в последние 200–300 лет для человечества.

Виктор Шендерович. С этой невеселой ноты, пожалуй, начнем второй отрезок нашего эфира после выпуска новостей на Радио «Свобода».

Я возвращаюсь к тому, на чем мы закончили предыдущий отрезок эфира. Национализм последние 200–300 лет, сказали Вы. А до этого этот вопрос так остро не стоял – это был скорее религиозные войны?

Владимир Кантор. Национализма просто не могло быть. Была империя – Священная Римская империя Германской нации – называлось это так. Туда входили разные культуры, разные будущие государства, которые потом оттуда выпочковывались, если угодно. Но над всем этим все равно их держало христианство. У Грановского, был такой русский историк, была замечательная фраза, что до христианства сражались не только народы, сражались их боги в язычестве. Когда появилось христианство, которое было над всеми народами, хотя, конечно, каждый священник в каждой стране окормлял своих воинов, но все равно было понятно, что рано или поздно надо мириться, это все-таки в пределах одной культуры, в пределах одной веры. И, в общем, худо-бедно, Европа выстраивалась по этому принципу.

Виктор Шендерович. Скорее худо-бедно, конечно, учитывая сроки.

Владимир Кантор. Что касается сроков, Вы говорили о малом времени, придумал Бахтин замечательно: малое и большое время. Мы все время поневоле, потому что мы жители малого времени, из него смотрим на все остальное. Но если посмотреть из большого времени, тогда понятно то, что происходит сегодня – часть общего процесса и процесс исторический, процесс вхождения в историческое поле свободы, а я думаю, в конечном счете если говорить в некоем высшем философском смысле о цели движения истории, – это именно вхождение в это поле свободы. Это процесс, который займет не одно столетие, по крайней мере. Это длительный, невероятный процесс. Как он при этом, в каких формах выльется, мы тоже не знаем. Может, произойдет нечто, когда человечество встанет перед задачей освоения мироздания, если оно не погибнет, разумеется.

Виктор Шендерович. Вот эта оговорка очень актуальная. Потому что скорость, с которой возможности человека по самоуничтожению превышают его способности к осмыслению, в XX в. нарастили страшным образом эту скорость. И совершенно действительно апокалиптические мысли волей-неволей приходят в голову, когда ты видишь ту цивилизацию, которая сейчас постучалась к нам в дверь, и понимаешь ее возможности. И в отличие от крестоносцев, они имеют возможность выпустить кишки не только тем людям, которых они встретят возле Гроба Господня, они могут это сделать по всему миру.

Владимир Кантор. Крестоносцы – это их противники.

Виктор Шендерович. Нет, крестоносцы их соратники, союзники по способам, так бы я сказал.

Владимир Кантор. Дело в том, что войны, переселение народов, когда германцы, гунны и прочие шли на Рим, или когда татаро- монголы шли на Русь, уничтожались города, вырезалось все население. По тем временам это было равнозначно Хиросиме, если угодно. Неважно,

как убьют город – сверху бомбой или войдут отряды ошалевших от крови молодчиков и вырежут всех до единого – это примерно одно и то же. Другое дело, что опасность Хиросимы, которая может стать мировой Хиросимой, – это, конечно, ни один Аттила, ни один Тамерлан проделать не мог. Хотя, может, в идеале к этому стремился.

Виктор Шендерович. Был бы не против, разумеется, просто руки были коротки.

Владимир Кантор. Не доходило. По степени уничтожения народонаселения соотносительно с тем количеством народонаселения, которое было в те эпохи, я думаю, мы не сильно превосходим другие страны по бессмысленности даже. Одно из самых страшных уничтожений – это Холокост, но нечто подобное можно, очевидно, найти не в таких масштабах, разумеется, безумных и бессмысленных, но можно найти в истории – стилистику, если угодно, уничтожения. Мы присутствуем при одном феномене, с которым мы должны считаться – увеличением численности людей. Это, с одной стороны, производит впечатление громадности жертв, с другой стороны, это дает возможность одному из миллионов совершить акцию человеческого самоубийства, нажав какую-нибудь непонятно какую кнопку. И с третьей стороны, очень странная вещь: когда идут массовые жертвы, то атрофируется чувствительность наша, гуманитарная, гуманная, как хотите назовите, чувствительность, она уходит. У Бунина в «Окаянных днях» есть замечательное, в свое время меня поразившее рассуждение. Он говорит: когда казнят одного или убивают одного, мы в ужасе, потому что это некто один, мы понимаем лицо, фигуру. Или Чухрай, когда снимает «Балладу о солдате» об одном, мы сразу понимаем, что таких Алёш было много. Когда, пишет Бунин, убивают семерых, какой-нибудь Леонид Андреев может написать рассказ о семи повешенных. Когда убивают 70, мы в оторопи. Но когда большевики убивают 70 тысяч, они лишают нас всякой чувствительности, мы не понимаем, что такое 70 тысяч, человек это не в состоянии вообразить. Вот это тоже одна из страшных тем, если угодно, человечества XX в., когда людей стало много действительно, то уходит гуманитарная восприимчивость того, что происходит с человечеством. Мы говорим – шесть миллионов.

Виктор Шендерович. Это невозможно представить.

Владимир Кантор. Это невозможно вообразить. Поэтому начинают спекулировать. А на самом деле было не шесть, а два миллиона. Подумаешь, четыре взяли вынесли за скобки.

Виктор Шендерович. Ничего не меняется, самое главное, что это абсолютно ничего не меняет в оценке.

Владимир Кантор. Но при этом обыватель говорит: да, врут про шесть миллионов, на самом деле два было. Хотя два – это тоже непредставимая цифра, это сумасшедшая цифра, даже если было два.

Виктор Шендерович. Понимаете, какая штука, эта атрофия сознания, Вы ее связываете с уходом вот этой верховной власти христианства, о которой Вы говорили, говоря о Средних веках?

Владимир Кантор. В какой-то степени да. Хотя христианство, в отличие от всех остальных религий, я об этом не раз говорил, студентам люблю повторять, единственная религия, мировая религия, которая позволила секуляризацию. То есть она сохранила все свои ценности в секуляризованном виде – не убий, не укради, не прелюбодействуй, введя их в систему правового сознания, правового поля, если угодно, и некоего нравственного императива. Потому что, воспитываясь в определенной среде, читая, как говорил Высоцкий, «нужные книжки», определенные книги, вы получаете запас этих христианских норм.

Виктор Шендерович. Собственно говоря, мы не подозревали, когда наши родители, мои, например, говорили мне, учили не врать и как минимум не лжесвидетельствовать, не убивать и не красть, мысль о том, что это имеет отношение к христианским ценностям, пришла мне на четвертом десятке.

Владимир Кантор. Это как раз и заслуга, как все в мире имеет оборотную теневую сторону, это и заслуга христианства, которое позволило создать секуляризованное общество,

и вместе с тем мы видим сегодня слабость, очевидную слабость христианства, которое не в состоянии противостоять сумасшедшим выходкам любых массовых террористических структур. Потому что террористические структуры, к сожалению, в основе своей опираются на принцип массы. Что дает силу террористу? Он не одиночка. У нас любят американские фильмы, где какой-нибудь маньяк, сумасшедший придумывает что-то и собирается уничтожить мир. Ничего подобного. За террористами всегда стоит воля миллионов и в этом ужас террора, на мой взгляд. Потому что, условно говоря, какой-нибудь Бен Ладен говорит, что за ним весь мир мусульманский.

Виктор Шендерович. Понимаете, какая штука, они взяли в значительной степени, по моим немусульманским наблюдениям, они взяли их в заложники.

Владимир Кантор. Кого?

Виктор Шендерович. Мусульманский мир в том числе.

Владимир Кантор. Разумеется. Но они-то спекулируют на том, что за ними миллионы.

Виктор Шендерович. Ну, знаете, как…

Владимир Кантор. Как большевики спекулировали, что за ними миллионы простого народа.

Виктор Шендерович. «Хамас», который имеет право говорить, разумеется, что представляет интересы палестинского народа. Мы знаем, что бывает в Палестине с тем, кто не разделяет идеи «Хамас». Таким образом увеличивается количество соратников – просто из чувства самосохранения.

Владимир Кантор. Может быть. Но я имею в виду другое. В данном случае, может быть, Бен Ладен не самый удачный пример. Классический пример – русский террор. Когда они убивали царя, губернаторов и прочих, они считали, что выполняют волю народа – это им давало силы. Не потому что они были те самые маньяки, которые собирались попить кровушки царя-батюшки. Нет, они выполняли волю народа, так ими понятую. Я думаю, что сегодняшние террористы, – вы правы: народ – заложник у них, но они полагают, что они выполняют волю народа.

Виктор Шендерович. Что может такая индивидуализированная протестантская этика, которая опирается на отдельного человека, на отдельный разум, что она может противопоставить в практическом смысле, не в нравственном, что она может противопоставить этим миллионам и сотням миллионов?

Владимир Кантор. Практически противопоставить, очевидно, нечего, кроме структурирования по возможности окружающего вас лично мира, кроме выражения своих понятий о добре, справедливости, правде, чести и так далее. Минимальные надежды, что кто-то это услышит, поймет и воспримет. С предложением читать хорошие книжки – это тоже на самом деле. Вы знаете, я работаю со студентами, и один из моих курсов связан, как ни странно, не с философией, а с литературой. То есть, не могу сказать – заставляю, я предлагаю студентам читать некие книги.

Виктор Шендерович. Это студенты чего? МГУ?

Владимир Кантор. Я работаю в университете «Высшая школа экономики», философский факультет. Студенты-философы, которые поначалу восприняли курс довольно высокомерно: нам – литературу? Вдруг они поняли, что это чрезвычайно важно. Они с восторгом читали всю эту классическую мировую литературу. И я понимаю, что многие смыслы, духовные смыслы, ценности духовные – они оттуда, разумеется, усваивали не в меньшей, а может быть и в большей степени, чем из философских текстов.

Виктор Шендерович. Что они читают?

Владимир Кантор. Курс, если говорить о том, который я веду, от Данте и Рабле, условно говоря, до Бёлля, Джойса – этот промежуток я взял, включая русскую, разумеется, литературу – Толстого, Достоевского.

Виктор Шендерович. От поколения к поколению меняются просто правила хорошего тона. В моем поколении читать Бёлля было… просто не поняли бы. Сейчас вдруг как бы он вышел из фокуса, в расфокусе. Да, был, но это не обязательно.

Владимир Кантор. У меня к Бёллю особое отношение, не только у меня, у моего поколения. Мы читали «Глазами клоуна» – эта книга была просто библией для нашего поколения, мы читали и перечитывали по многу раз. Я своей любимой женщине дал читать эту книгу: пока не прочтешь, говорить не буду с тобой.

Виктор Шендерович. Хороший способ.

Владимир Кантор. А потом случилось так, что я получил стипендию Бёлля и полгода жил в доме Бёлля в Германии. Так вот что такой был неожиданный поворот моей собственной судьбы, связанный с Бёллем.

Виктор Шендерович. Что читает это поколение? Вы интересуетесь, что они читают за пределами вашего курса?

Владимир Кантор. Вы знаете, не очень понятно. Они читают современную, разумеется, по возможности литературу. Но я поразился, что когда я начал говорить о Данте, примерно треть моих студентов, а это второй курс, Данте уже читали, и для меня это было удивлением большим. Данте прочесть в общем не просто. И когда я начал им рассказывать: ад, рай и прочее, – я смотрю, они начали меня проверять. Говорят: Владимир Карлович, а это в каком круге?

Виктор Шендерович. Наглые студенты, но симпатичные.

Владимир Кантор. Слава Богу, экзамен я выдержал. Но тем не менее это было очень приятно. Приятно не то, что они меня спрашивали, а то, что они читали. Казалось бы, должны быть прагматики – экономика, я думаю о карьере, я думаю о другом. И вдруг идут на философский, где карьеры особой не сделаешь. Меня всегда поражают на самом деле студенты, которые идут на философский, филологический. И я про себя думаю: господи, как здорово, что еще кто-то есть, кто идет на эти специальности, из которых шубы не сошьешь никакой. И когда я прихожу в библиотеку гуманитарную и вижу полный зал молодежи, я думаю: значит, еще, как говорил Пастернак, значит, еще что-то читают.

Виктор Шендерович. Был замечательный фельетон Аверченко. Вы помните? «История русской грамоты». Про то, как вначале человек приходит… Глупо пересказывать Аверченко своими словами, но в двух словах: сначала человек приходит в библиотеку еще в царское время и просит именно это издание, именно смирнинское, именно оно ему дорого. Потом еще время проходит, еще и еще. И кончается тем, что два обывателя разговаривают: «Вы знаете, вчера виселица на площади была, очень похоже на букву Г». Такая эволюция русской грамоты. Все-таки читают – это действительно приятно.

Владимир Кантор. Читают – это приятно.

Виктор Шендерович: Вернемся к этой поразившей меня, честно говоря, Вашей мысли об ответственности Робеспьера за Адольфа Гитлера. О том, что действительно лозунги Французской революции. – вот не дано предугадать, как слово отзовется.

Владимир Кантор. Это правда. И наше с вами слово не дано предугадать, как отзовется, даже нынешнее.

Виктор Шендерович. Поэтому мы стараемся «фильтровать базар». У Володина – к вопросу о лозунгах Французской революции – у Володина Александра Моисеевича была потрясающая строчка: «Свобода и братство, равенства не будет. Никто никому не равен никогда». Не кажется ли Вам вслед за Володиным, что равенство и свобода – это вещи, друг другу противопоказанны?

Владимир Кантор. Это очевидно совершенно. Это до Володина говорили почти сразу. Реакция на идею просвещения – свобода, равенство и братство.

Виктор Шендерович. Братство – да, братство меня устраивает.

Владимир Кантор. Неправильно Вас устраивает, как раз начиная от Ветхого Завета, с Каина и Авеля тема братства…

Виктор Шендерович. Специфически звучит.

Владимир Кантор. Вопросительно. Что такое наши братки или братовщина и прочее? Это тоже идет оттуда.

Виктор Шендерович. Это братство против закона.

Владимир Кантор. А помните замечательный анекдот советских времен, когда русский и поляк находят бутылку воды в пустыне и советский человек говорит: «Давай по-братски». «Нет, – отвечает поляк, – давай лучше пополам».

Виктор Шендерович. Замечательно.

Владимир Кантор. Тема Старшего брата, помните, у Оруэлла. Так что тему братства я бы вычеркнул, вынес за пределы.

Виктор Шендерович. Она не такая четкая, как понятие свободы и равенства.

Владимир Кантор. Она более требует художественного осмысления, но она неоднозначна абсолютно. Как и свобода, но особенно равенство. Равенства нет, условно говоря, по рождению. Говорят: Америка – страна всеобщего равенства. Дает ли Америка, как говорил Достоевский, дает равенство каждому по миллиону? Не дает. И какой-нибудь троечник, окончивший Йельский университет, вряд ли стал бы президентом этой великой страны. А мы знаем того, который стал. Видимо, не потому, что есть равенство возможностей, а потому что есть равенство невозможностей.

Виктор Шендерович. Так почему, давайте – это интересный вопрос. Где дефект механизма, почему троечник не только из Йельского университета, но и из других и вообще университетов не кончавшие, почему троечники при демократии становятся элитой, и все общество начинает жить по этим правилам и с этой пониженной планкой?

Владимир Кантор. Дело в том, что троечники очень устраивают массу, потому что масса – тоже троечники в своей основе. Ведь специалистов высокого класса не так много. Помните среду школьную или какую-то аналогичную, как мы все не любили отличников.

Виктор Шендерович. Ну, в общем, да, неприятный человек.

Владимир Кантор. Неприятные люди.

Виктор Шендерович. Много о себе понимают, как правило.

Владимир Кантор. Потом мы начинали подрастать и понимали, что отличник может быть не самый плохой, а вот есть такой, который о себе много вообще понимает и предлагает что-то, что я лично сделать не могу. А почему ты можешь, а я не могу? А вот этот троечник может то же, что и я. Когда нам предлагается выбор, конечно, я выбираю того, кто мне понятнее.

Виктор Шендерович. Понимаете, какая штука, противоречит логике обыденной, просто логике здравого смысла. Потому что если мне надо, чтобы мне электрику починили в квартире, я, наверное, выберу себе пятерочника, я выберу того, кто…

Владимир Кантор. Их нету!

Виктор Шендерович. Секундочку. Но есть кто-то, кто в этом разбирается. Так я за эти деньги лучше найму того, кто мне сделает, чтобы потом не замыкало по всей квартире. Но почему же электрика я постараюсь, если у меня будет возможность, выбрать пятерочника, а почему в случае с политикой с такой радостью мы отдаемся просто прохвостам, говоря щедринским языком, просто прохвостам?

Владимир Кантор. Во-первых, найти электрика-пятерочника очень трудно, даже за большие деньги. А если вы находите… Я вспоминаю рассказ отца, который студентом поехал к академику Тарле и пригласил его выступить перед студентами. Тогда это был самый модный историк. Тот сказал: «Моя лекция стоит столько- то». И растерянный отец, у которого была студенческая какая-то сумма мизерная, сказал: «Но можно ли выступить перед студентами

бесплатно, а если не бесплатно, то хотя бы за небольшую сумму?» Академик ответил: «Найдите другого Тарле».

Виктор Шендерович. Когда мы говорим о Тарле, в скобках – Копперфильде, Святославе Рихтере, то, пожалуй, что да, тогда можно так сказать. Но что касается электрика и даже хирурга, и даже политика, тем более политика, то, в общем, я думаю, что комплекс требований к этому человеку вполне по силам обществу многомиллионному, как, скажем, у России, из ста миллионов найти себе пятьсот человек умных и честных, а собственно, никакого третьего… умных, честных и работоспособных – все. Вот, собственно, все.

Владимир Кантор. Не получается почему-то, причем почти всегда. Я знаю несколько примеров исторических, как и Вы, когда это получалось. Условно говоря, Авраам Линкольн – это очевидный и пятерочник, и благородный человек. Собственно, его и убили поэтому. И, в общем, был такой замечательный, если говорить об американской истории, человек как Вашингтон, которого не убили, который совершил на самом деле величайший прорыв в истории человечества, когда они победили, ему предложили королевский титул. И он сказал: «Попробую впервые в истории обойтись без этого титула. Я буду президентом не более чем на два срока. Вернее, на один, на второй – если меня выберут. Но не более этого». Его хотели провозгласить пожизненно отцом нации и прочее. Прошло восемь лет, он ушел в отставку и сказал – нет.

Виктор Шендерович. Бывает же. Но, действительно, Вы правы, это исключение.

Владимир Кантор. Это уникальный случай. В России таких было, я бы назвал два, два с половиной, точнее. Это, конечно, Петр и Екатерина – это невероятное везение России. Уж откуда они взялись, мне непонятно. То есть Екатерина – понятно. Петр вообще чудо какое-то. Пушкин говорил о Петре: какое чудо в русской истории.

Виктор Шендерович. Толстой Лев Николаевич иначе писал об этом чуде.

Владимир Кантор. Льва Николаевича я не люблю, сразу скажу.

Виктор Шендерович. Я ему передам.

Владимир Кантор. Хорошо, при случае.

Виктор Шендерович. При случае, конечно. Надеюсь, что нескоро. Понимаете, какая штука, да, это прорыв, вздыбивший Россию. Хорошо, это я Вас перебил, два с половиной, вы сказали.

Владимир Кантор. И Александр Второй – это половина, которой не хватило крепости или крутости, я не знаю как, нынешним языком говоря, Петра и Екатерины удержать страну в повиновении, потому что те проводили реформы. Ведь при Петре и при Екатерине в результате экономический уровень страны возрос в десятки раз, то, что называется национальным богатством или как еще назвать.

Виктор Шендерович. При этом, если говорить о Петре, то с Запада он взял только технологии.

Владимир Кантор. Не только.

Виктор Шендерович. Парламентаризм как идею он оттуда, мягко говоря, не вынес.

Владимир Кантор. А извините, из кого парламент было делать?

Виктор Шендерович. Ну да. Как идею, я же сказал.

Владимир Кантор. Как идею он вынес. Он первый приказал перевести на русский язык Локка, «О веротерпимости» его книгу, или «О толерантности», как ее назвали. А на Локке строится вся западная демократия. И это Петр велел сделать в России. Петр говорил с Лейбницем и по его совету построил академию в России. У нас часто говорят: а почему академию, а не школы начальные? А кто учил бы в этих школах начальных. Были люди? Не было.

Виктор Шендерович. Мне кажется, я не большой сторонник Петра Алексеевича, хотя кто меня спрашивает, собственно, но все- таки ему это нужно было для того же, для чего советской власти нужен был академик Сахаров – чтобы сделать водородную бомбу.

Владимир Кантор. Никакого проку от академии у него не было вообще.

Виктор Шендерович. Некоторые внешнеполитические интересы.

Владимир Кантор. Никаких. В этот момент – никаких. Конечно, он Россию поднял на дыбы, а не на дыбу – все-таки вздыбил. В том смысле, что Россия вошла в Европу, вернулась, вернее, в Европу, откуда она была изгнана татарами. Россия была морской державой при киевских князьях, она стала сухопутной при московских. При Петре она снова стала морской державой. Не было флота, не было армии, не было газеты, не было алфавита, которым мы пользуемся. Это не Кирилла и Мефодия, это алфавит, сделанный Петром, и так далее.

Виктор Шендерович. Разумеется. Я в данном случае повторяю, я выступаю в качестве адвоката дьявола.

Владимир Кантор. А академия как раз никаких политических выгод не несла, как не нес политических выгод перевод Локка. Ребята, учитесь толеранции – говорил он.

Виктор Шендерович. Вернемся напоследок к нашим делам скорбным. Когда мы выберемся из этого малого времени в какое- то чуть побольше?

Владимир Кантор. Во-первых, зависит от каждого из нас, в каком времени жить. Как сказал когда-то поэт – я о Науме Коржавине, – «нету легких времен». Их вообще нет в истории. И вопрос в том, как прожить в любом времени достойно. В общем можно. Система движений и откатов характерна для любого исторического процесса. Что будет, будет ли статус-кво некоторое, что было бы для России не самым худым вариантом на самом деле. Потому что статус-кво – это периоды, которые Россия переживала редко. Хотя статус-кво противное, но тем не менее. Я не знаю. Дело в том, что, как и всегда, все зависит не только от нас с вами и вообще не от России. Потому что как повернется мировое развитие. Скажем, карикатурная война, она говорит о тех процессах исторических глобальных, которые могут повернуть XXI век в совершенно неожиданную сторону. Роль России в этих процессах… тоже нам пока неизвестно, какую роль будет играть, не снова ли щитом.

Виктор Шендерович. «Мильоны вас, нас тьмы, и тьмы, и тьмы». На этой оптимистической ноте мы заканчиваем беседу с писателем и философом Владимиром Кантором. Спасибо, что пришли к нам.

О жизни, выходящей из ряда…

2. Попутное слово

Это слово будет в двух частях. Первая – объяснительно-информативная и благодарственная. Вторая уже вводит в мемуарное пространство книги.

I

Примерно лет десять тому назад некоторые издатели начали мне предлагать написать книгу мемуаров, мол, вы многое видели, у вас было много интересных друзей и знакомых. Я категорически отказывался, поскольку считал свое время малоинтересным, тем более неинтересной свою собственную жизнь. Да потом я не мог даже вообразить, как это я сяду и начну описывать свой мир, родственников от какого-то там колена, друзей, с которыми общался, пил водку, болтал. Тем более табу для меня были мои любовные увлечения (такими и остались). Точнее сказать, я размотал свою биографию по своей прозе, как и положено писателю. А переносить на бумагу реальные события моей жизни – кому это надо! Во всяком случае, я боялся отравы изображения подлинного себя, а не в костюме вымышленного героя.

А время? Что такое мое время? Слава Богу, никакой революции, никаких лагерей, никакой войны, сплошной брежневский застой, а перестроечный переворот был слишком очевиден, да и никак я не принимал в нем участия, жил себе да писал. Пару мемуарных текстов я написал как дань памяти. Раскочегарил меня Фейсбук и интернет-журнал «Гефтер», особенно «Гефтер», где мои «мур-муры», как назвала их моя знакомая, вдруг оказались востребованными наряду с культурфилософскими статьями. Пушкин как-то удивился, что с людьми, ставшими волею судьбы историческими фигурами, его связывало короткое дружеское знакомство. Такие люди, как мне казалось, были в предыдущем поколении, в поколении моего отца. Описывать снизу вверх не хотел, интонации же сразу не мог найти. Хотя рассказывать разные байки любил. Было в моем репертуаре несколько комических историй о столкновении с сильными мира сего. Но никогда не думал записывать их. Но ситуация Фейсбука и «Гефтера» была тем для меня хороша, что позволяла не писать все подряд, а от случая к случаю выхватывать из жизни те или иные красочные эпизоды и фигуры. То есть не становиться мемуаристом, а оставаться рассказчиком. Это меня вполне устраивало. Тем паче, что на каждую мою публикацию в «Гефтере» (ибо они всегда перепечатывались в Фейсбуке) я получал одобрительные отзывы друзей- приятелей, френдов, если пользоваться фейсбуковским термином.

Так потихоньку набралось довольно много мемуарных эссе, ироничных, но без иронии после опыта XX в. и исторических безумств века теперешнего писать о жизни невозможно. Думаю, что читатель не посетует на иронию, а напротив, не раз улыбнется. Правда, так получилось, что герои моих эссе, особенно любимые, вдруг оказались теми не совсем обычными людьми, о которых стоит писать мемуары. Необычность их, как мне теперь видится, в том, что они так или иначе выломились из ряда, в который их пытался определить социум.

Известность и знаменитость для меня не были определяющими факторами, напротив, несмотря на серьезность ими совершенного и сделанного, мои герои не попали в мейнстрим сегодняшнего массового общества. В тех случаях, когда в героях оказывался сам автор, ирония и усмешка были непременным условием. В результате почти двухлетнего писания и печатания в «Гефтере» воспоминательных текстов и сложился основной корпус этой книги. Поэтому моя глубокая признательность шеф-редактору «Гефтера» Ирине Варской, первой читательнице моих мемуаров, которая не только их одобряла, но печатала. Мне иногда кажется, что

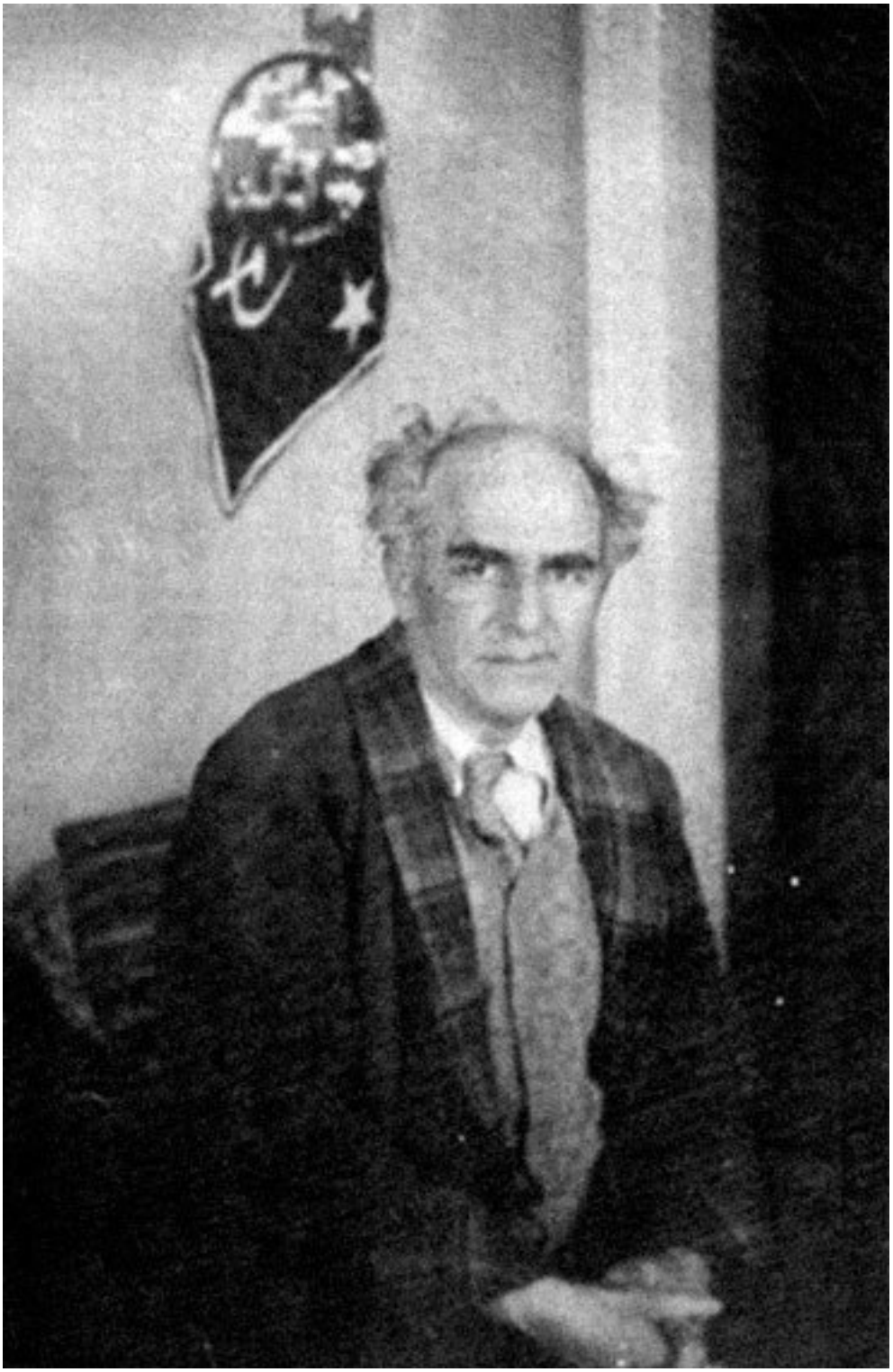
если бы не было этих публикаций, которые как-то организовывали меня, то вряд ли я собрался бы перевести свои устные рассказы в печатный текст.

II

Друг моего детства, юности и нынешних дней (изображенный как Лёня Гаврилов в новелле «Историческая справка», как раз ему и посвященной, а также в повести «Соседи» и рассказе «Милицейская фуражка»), узнав, что я хочу переиздать «Два дома» в полном – восстановленном – объеме и виде, попросил меня указать адресно место действия этой повести – ему очень хочется, чтоб она осталась хотя бы в реестре архитектурных описаний Москвы, чтоб он мог смело помянуть мой текст при составлении архитектурной исторической справки. Сообщаю: дом «бабушки Насти» – это 4-й Нижне-Лихоборский проезд, д. 26, кв.1. Дом «бабушки Лиды», где жил я постоянно вместе с родителями, – это Красностуденческий проезд, д. 10 (теперь – № 15), там жила профессура Тимирязевской академии.

«Бабушкинастин», маленький, двухэтажный, деревянный (там начинается действие), находился в знаменитых Лихоборах (название говорящее!), это была комнатка в коммунальной квартире на первом этаже, впрочем, читатель уже составил себе представление об этом жилище и его обитателях из повести. Мой дед, мамин отец – Сергей Антонович Колобашкин, получил комнату в этом доме в 1929 г., в самом начале раскулачивания, когда переехал (бежал почти) в Москву, бросив в деревне Покоево трехэтажный дом, хозяйство и несколько гектаров приусадебного сада с прудом и т. п. Дочери его имели свой выезд. Происходил он из крестьян. О прошлом не говорил со своими внуками никогда. Хотя мы знали, что его отец, наш прадед, был богат, извоз держал, детям дома оставил, а деньги прятал (рычал: «Умру – всё ваше будет!»), и нашли их только в начале двадцатых, когда они потеряли всякий финансовый смысл. В детстве я играл бумажными кредитками по пять и десять тысяч, не говоря уж о красненьких, синеньких и керенках, не отдавая себе отчета, что это часть потерянного моими предками состояния. Дедушка Сережа стал шофером и всю оставшуюся свою жизнь прожил в кошмарной коммуналке, но сохранил жизнь себе, жене и детям.

Пятиэтажный и кирпичный «бабушкилидин» относился к домам (два пятиэтажных и два четырехэтажных), которые люди из окрестных бараков называли – «профессорские дома». Там обитал «профессорско-преподавательский состав» Тимирязевской сельскохозяйственной академии (бывшая Петровская земледельческая, рядом роскошный парк, где в прошлом веке С. Г. Нечаев убил студента И. И. Иванова: см. роман Достоевского «Бесы»). Что же был это за состав? Начну со своей семьи. Мой дед по отцу, профессор геологии и минералогии (помню оставшиеся от него и стоявшие на столе у бабушки стразы лилового цвета) Моисей Исаакович Кантор, приехал в 1926 г. из Аргентины, занял по протекции Вернадского и Ферсмана кафедру в Академии (они ценили его аргентинские работы по геологии, где он имел кафедру в Ла-Платском университете). Сначала жил в коммунальной кооперативной квартире, а в 1937 г., когда был построен дом, получил взамен кооперативной трехкомнатную в новом краснокирпичном доме. Отсюда в 1939 г. его увезли на Лубянку. После разработки Керченского месторождения, за что был выдвинут на Сталинскую премию и в члены-корреспонденты АН СССР – Вернадским, Ферсманом, Вольфковичем, он в том же году был арестован по доносу своего заместителя как якобы троцкист (рассказ «Наливное яблоко»). Ни премии, ни звания, разумеется, не получил. Но пробыл в заключении до 1940 г. Надо сказать с чувством благодарности, что Вернадский поддерживал деда и после возвращения из тюрьмы (сохранились письма). Дед скончался в 1946 г., через год после окончания войны, и был похоронен в Тимирязевском парке на кладбище для профессуры Тимирязевской академии.



Моисей Исаакович Кантор (1879–1946)

Каких соседей по дому я помню или просто могу назвать? Было много известных людей. Приходил, быть может, к своему сыну, жившему в нашем доме, знаменитейший почвовед В. Р. Вильямс. Приезжал академик Д. М. Петрушевский, великий медиевист, тесть профессора Д. А. Кисловского, зоолога, отец мой дружил с его сыновьями. От одного из них впервые услышал я хлебниковское, что люди делятся на изобретателей и приобретателей. Академик В. С. Немчинов, экономист, статистик, о котором положительно упоминал Сталин, жил в среднем подъезде. Он был ректором ТСХА, его именем названа улица в Тимирязевском рай-

оне. По сути дела его экономическая школа сменила школу арестованного в 30-м году и расстрелянного в 37-м А. В. Чаянова, экономиста и блистательного писателя, тоже выученика и сотрудника Петровской академии. Жил там и академик Жуковский, биолог и генетик. Дед был в хороших отношениях с А. Р. Жебраком, под его влиянием и посоветовал своей невестке, т. е. моей матери, заняться генетикой. Приятельствовал он и с профессором математики Надеждой Васильевной Рындиной. Потом с ее сыном дружил мой отец, а я дружу уже очень много лет с ее внуком. Так что термин «профессорская культура» был придуман мной не случайно.

Этажом выше жил дед моего приятеля Андрея Дубкова (под именем Алешки Всесвятского он выведен в повестях «Два дома», «Я другой» и новелле «Немецкий язык») – профессор неорганической химии И. Н. Заозерский. Как я подозреваю, он был внуком, сыном или очень младшим братом профессора богословия Заозерского, с которым полемизировал Владимир Соловьёв. Позднее в этот дом переехал и школьный друг моего брата Андрей Добрынин, ныне известный куртуазный маньерист. Среди прочих достойных и известных там жил Жорес Медведев, к которому часто ходил его брат Рой. Дом этот описан мной не однажды – и в романе «Крокодил», и в романе «Крепость», и во многих рассказах.

Построен дом был заключенными. 1937 год всё же! Мы, дети, догадывались об этом – на выдавленной чем-то и закрепившейся после обжига надписи на красном кирпиче, вделанном надписью во двор под окном профессора Н. Н. Тимофеева, жившего на первом этаже, стояли слова: «Кипич делаю заключенный в лагерь». Фразу эту я запомнил навсегда, включил в свой, на данный момент, самый значительный текст – роман «Крепость». Большая часть его действия происходит в этом доме. В романе было и эссе, которой писал главный герой: «Мой дом – моя крепость». К сожалению, эссе, как и многое другое философское и не только, из журнальной публикации было устранено. Боже мой, конечно же, я благодарен «Октябрю», пожалуй, с начала 90-х наиболее смелому журналу, за то, что напечатал, дал роману, хоть призрачную, но жизнь, объявил о его существовании. Просто для журналов, увы, кончилась эпоха длинных романов. Другие («Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», куда я тоже ходил) вообще даже рассматривать роман такого объема отказались. Но тем не менее вообразите себе Раскольникова или Ивана Карамазова без их статей – вместо достоевских философских романов просто детективные истории. Или «Войну и мир» без историософских размышлений и рассуждений Толстого? Что получается? Мыльная опера из жизни высшего света в эпоху Наполеоновских войн, а вовсе не историософский трактат в лицах, тем более не народная эпопея. В результате «Крепость» оказалась все-таки изрядно порушенной: вместо романа в 35 листов со сложной барочной структурой осталась сюжетная интрига на двенадцать листов, так называемый *журнальный вариант.* Правда, и в этом виде роман был выдвинут на премию Букера, которую, разумеется, не получил.

Теперь о посещавших этот дом. Наверно, это тоже важно. Кроме Петрушевского, других гостей наших соседей я не знал. К нам же приезжали либо заграничные друзья бабушки, два раза ее дочь, моя тётка – аргентинская поэтесса Лиля Герреро, и друзья отца, из которых самыми близкими, а потому мной любимыми были – кровный брат отца, сын моего деда Моисея Исааковича от его первого брака, знаменитый разведчик и писатель Алексей Павлович Коробицин (взявший фамилию своей матери), автор романов «Хуан Маркадо – мститель из Техаса» и «Тайна музея восковых фигур»; кинорежиссер Григорий Наумович Чухрай (ближайший друг отца со школьных лет); вернувшийся из ссылки поэт Наум Коржавин (он же Эмка Мандель), первый воспитатель моего подросткового еще вольномыслия; и last not least – писатель-прозаик Николай Семенович Евдокимов (тоже друг школьных лет отца), его заботе я обязан первой публикацией своей прозы.

3. Реальность той стороны луны. Мой дядя Алексей Коробицин, разведчик

Та сторона луны – это тайна, о которой знают только специалисты, космонавты и астрономы. Что уж говорить о тех, кто там провел не один день. Я говорю так отчетливо, ибо знаю, что мой родной дядя, брат отца, Алексей Коробицин, как раз и был человек лунной природы. Обманная, загадочная луна. Ведь Запад, где он жил годами (с тридцатых до середины пятидесятых), – это другая сторона луны, на которую, как мне в юности казалось, я никогда не ступлю. Никак не ступлю. Тем более как разведчик, как герой. А для него это была реальность. А можно и по-другому сказать: вся страна была покрыта сетью Архипелагов, и кроме архипелага ГУЛАГ был и архипелаг СМЕРШа, военной разведки, ЧК и пр. Не говорю уж об архипелагах структур, работавших на власть. Все архипелаги подчинялись нечеловеческим законам, но внешне были почти как люди. Хотя, быть может, у них были свои неземные поверхности.

Не знаю, в каждой ли семье бывает любимый подростком дядя, который при этом, а может и благодаря тому, выглядит немного таинственно. Как в английских таинственных романах типа Диккенса или Уилки Коллинза, Стивенсона и Конан Дойла, в основном англичане – мастера криминального жанра и создатели самой мощной разведки.

Я даже знал от отца его разведческий псевдоним – «Лео из Ла Риоха». Были еще кодовые имена – Турбан, Нарсисо, последний почему-то запомнился – «Кораблёв». Лео, однако, был основной. Но дома не было принято об этом говорить. Потом уже, прочитав мемуары, где о нем говорилось вскользь, понял окончательно происхождение клички. Цитирую начало этих казенных мемуаров с пояснениями:

«Алексей Павлович Коробицин родился в 1910 г. в Аргентине в городе Ла-Риоха. Не совсем понятно, почему по документам он значится Павлович, а не Моисеевич или Михайлович, как его братья. Отец, Моисей Кантор, был по образованию геолог, а по роду деятельности – революционер. В годы первой русской революции участвовал в экспроприациях, которые устраивали анархисты, после таких акций они раздавали захваченные средства нуждающимся. Был арестован, отсидел 11 месяцев в тюрьме. В 1909 г. бежал из ссылки и вместе с женой, Лидией Коробициной, учительницей химии и тоже революционеркой, и двумя детьми эмигрировал в Аргентину. Там Кантор работал геологом, профессором университета. В Аргентине у супругов родился третий сын, Алексей.

В 1926 г. семья возвратилась в СССР. Алексей пошел учиться в ФЗУ, вступил в комсомол. В 18 лет пошел служить на Балтийский флот. После службы шесть лет ходил на торговых судах. Во время испанской войны попал в Испанию переводчиком, работал с военно-морским атташе и главным военно-морским советником будущего адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. Алексей Павлович покинул Испанию одним из последних, в конце 1938 г. За проявленную доблесть и мужество в боевых операциях при оказании помощи командованию ВМФ Республиканской Испании Коробицин А. П. награждён орденом Красного Знамени. Вернувшись из Испании, попал на работу в разведку, стал резидентом в Мексике. Не отзови его Центр в 1941 г., может статься, и судьба его сложилась бы по-иному…»

Алексей Коробицин

Два пояснения.

1. Бежали они (дед, его первая жена и сын Саша) в Константинополь на лодке контрабандиста, перед турецким берегом начался шторм, но спасать их никто не выходил. Тогда лодочник сорвал с ребенка штанишки и раздвинул ножки, показав публике, что это мальчик. И несколько лодок вышло в море. Мальчиков турки спасали. А уж оттуда через пару лет перебрались в Аргентину.

Пояснение – об отчестве: дед ушел к другой женщине, моей бабушке, матери отца. Их брак они зарегистрировали в Эквадоре в 1923 г., когда отцу уже был год. Это свидетельство я нашел в столе, отдал папе, но он куда-то его убрал. Три сына среагировали на уход отца каждый по-своему. Все трое взяли фамилию матери – Коробицины. Дядя Саша стал Александр Моисеевич Коробицин, лейтенант, всю войну проработал переводчиком. Дядя Лёва взял фамилию матери, отчеством имя другого деда, стал Лев Александрович Коробицин. По семейному преданию, идущему, как понимаю, от дяди Алеши, во время войны капитан морской пехоты Лев Коробицин погиб, закрыв своим телом немецкий дзот. Своего единственного сына дядя Алеша назвал в память погибшего брата – Лев. А судьба дяди Алеши совсем другая. Он тоже взял фамилию матери, а как возникло отчество, не знаю. Мой отец говорил, что его отчество возникло как отчество его деда Александра Павловича Коробицина, екатеринбургского мещанина, по еще одному преданию, бывшего какое-то время старообрядческим священником. Но по свидетельству о рождении Лидии Александровны (любезно присланному мне моим троюродным братом Сергеем Коробициным) его звали «Александр Харитонов Коробицин». У меня есть фотография, в центре которой сидит милая высокая русоволосая интеллигентная женщина, Лидия Александровна Коробицина, первая жена деда, а вокруг нее сыновья – трое

крупных парней. Дядя Алеша меньше ростом, чем два брата, взгляд лукавый и умный. Роста он и впрямь был невысокого. Если, скажем, у моего отца был рост один метр 76 см, то у дяди Алеши был рост метр 72.

Фотографии дяди Лёвы у меня не сохранилось. Но фото двух братьев, Александра и Алексея, времен войны могу показать.

О дяде Алеше Коробицине я знал уже лет с восьми только то, что он воевал в Испании, потом надолго исчезал, отец говорил, что он служит капитаном на кораблях дальнего плавания. Моряк! Капитан! Конечно, герой! Больше ничего не знал. А потом вдруг в 1956 г., мне 11 лет, он поехал с нами (папой, мамой и мной) отдыхать в Джубгу. Маленькая деревушка на берегу Черного моря, в море впадала река, по этой реке под свисающими перевитыми ветвями мы как-то по предложению дяди Алеши поплыли на двух лодках вверх по течению. В реке шныряли рыбки, некоторые довольно крупные, мы с мальчишкой-соседом ловили их по утрам. Страшноваты были змеи, не очень большие, тонкие, гибкие, с маленькими головками, но мы их боялись, поскольку не знали, ядовиты они или нет. Сейчас иногда я думаю, что моего дядю Алешу, улыбчивого и добродушного, те, которые подозревали его профессию, тоже могли опасаться, не нанесет ли он смертельный удар. Уже потом, лет семь-восемь спустя, я как-то спросил его, носил ли он оружие (мальчишке лестно видеть героя), на что дядя Алеша усмехнулся: «Как правило, нет, только если нужно было по роли». «А как же, – заранее изнемогая от мальчишеского героизма, спросил я, – а сражаться?» Он вдруг рассмеялся: «В моем деле сражаются умом. Я почти никогда не стрелял, если не был в бою».

Александр и Алексей Коробицины. 1942

Но это уже был более поздний разговор. А пока мы плыли по реке, над нами свисали ветви, похожие на лианы, тень закрывала нас от жары. А километров пять выше по реке мы наткнулись на плетеный мост, как в приключенческих книгах: деревянные дощечки днища и ветви и лианы как перила. Конечно же, мы прошли по нему: рядом с дядей Алешей ничего не было страшно. Странное спокойствие. Потом это спокойствие подтвердилось странным образом. На следующий день мы гуляли в парке, и вдруг на шею отца попал клещ. Мама первая заметила и закричала. Отец даже не почувствовал, а тут, услышав крик, повернулся, увидел клеща и попытался ударить по нему ладонью, чтобы убить его. Реакция дяди Алеши меня поразила. Он перехватил руку отца и сказал: «А вот этого делать не надо. Не тронь его!» Отец заметно занервничал, опасаясь, что клещ может быть энцефалитным. Дядя Алеша рас-

смеялся своим тихим улыбчивым смехом. «Когда мы партизанили в гомельских лесах, мы нарочно ловили этих клещей, сажали на руку и смотрели, как они вгрызались и протачивали себе дорогу». Мама нервничала: «Алеша, хватит шутить! А как вы спасались?». Он провел рукой по усам и опять усмехнулся: «А очень просто. Капали на то место, куда клещ въелся, каплю керосина, он сразу и вылезал». Но керосина ведь у нас с собой не было, хотя в съемной приморской комнате керосинка стояла. Но успеем ли мы дойти-добежать до комнаты, – мы далеко ушли в лес.

Родители и вправду испугались, я, глядя на них, тоже. Это была неожиданная опасность среди жаркого и расслабляющего отдыха. Хотя это казалось, если взглянуть со стороны, рассказанной кем-то, словно безумцем, историей, которых вообще-то быть не должно в этом мире. «История человеческой жизни – это история, рассказанная безумцем», – писал Шекспир. А я был довольно начитан. Здесь немножко запахло безумием. Но родители всерьез рассуждали об опасности, тогда дядя Алеша встал, сходил к мужикам, приехавшим на машинах, взял у них пузырек с бензином и вернулся. Несколько капель, и клещ, работая всеми лапками, начал выбираться. Дядя Алеша стряхнул его на землю и раздавил. У меня все это в голове как-то сразу перемешалось. Вроде это было, наверно, на самом деле, и было страшно, а теперь это просто почти бытовая шутка. Как история из книги.

А потом пошли на пристань нырять и плавать. И опять мое представление немного сломалось. Дядя Алеша – моряк, капитан, герой. Когда к нам домой приезжал его друг Машевич из Латинской Америки, он качал меня на носке ботинка и пел: «Капитан, капитан, улыбнитесь! Ведь улыбка это флаг корабля!» И я понимал, что это про дядю Алешу. Сам дядя Алеша относился к Машевичу немного иронически. Уже много позже сказал мне: «С ним было трудно работать. У него в каждом кармане было по пистолету на боевом взводе. Верный шанс – провалиться». Я удивился: «А вы разве никогда не отстреливались?». Надо было видеть его смущенно-ласковую улыбку: «Никогда. Мне никогда по роли не приходилось это делать. Ведь побеждаешь умом, а не пулей. А когда приходилось стрелять, стрелял. Но это уже на Гомельщине, в партизанах».

Я ждал, как он красиво нырнет и уплывет далеко-далеко, уж во всяком случае, не хуже местных деревенских приморских пацанов. Сказать, что он разочаровал меня – было бы неправдой. Просто я тут же решил, что так и должно быть. А он как-то солдатиком спрыгнул с мостков, минут пятнадцать поплавал вокруг деревянной пристани, почти по-собачьи, потом влез на доски причала и развалился загорать. К этим доскам только раз в неделю приходил теплоход, о котором кричали рупоры: «К пристани прибывает теплоход “Агат” типа “Жемчужина”». И играли «Мишку»: «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня?..». К вечеру теплоход отчаливал. Оставался просто деревянный настил.

И странное дело: вместо разговоров о военных приключениях (хотя потом я понял, что по-настоящему воевавшие не любят рассказывать военные истории) дядя Алеша рассказывал историю о том, как пытается напечатать свою первую книгу рассказов о Мексике «Жизнь в рассрочку» (1957). Как потом уже я понял, его выперли на пенсию, в отставку. Сорок шесть лет – не время даже для военной пенсии. Он как-то сам сквозь зубы бросал, что те, кто мог его поддержать, были уже в начале пятидесятых расстреляны. Новое начальство его уважало, но не могли преодолеть того обстоятельства, что у дяди Алеши не было военного образования. Хотя навоевано им было на несколько генеральских званий. Без дела он сидеть не мог, видел много, писательский дар был очевиден, хотя не про все можно было писать. Но сюжеты он находил. Много видел, в любом случае можно найти нечто неожиданное. Как в любом кусочке жизни, если ее видеть.

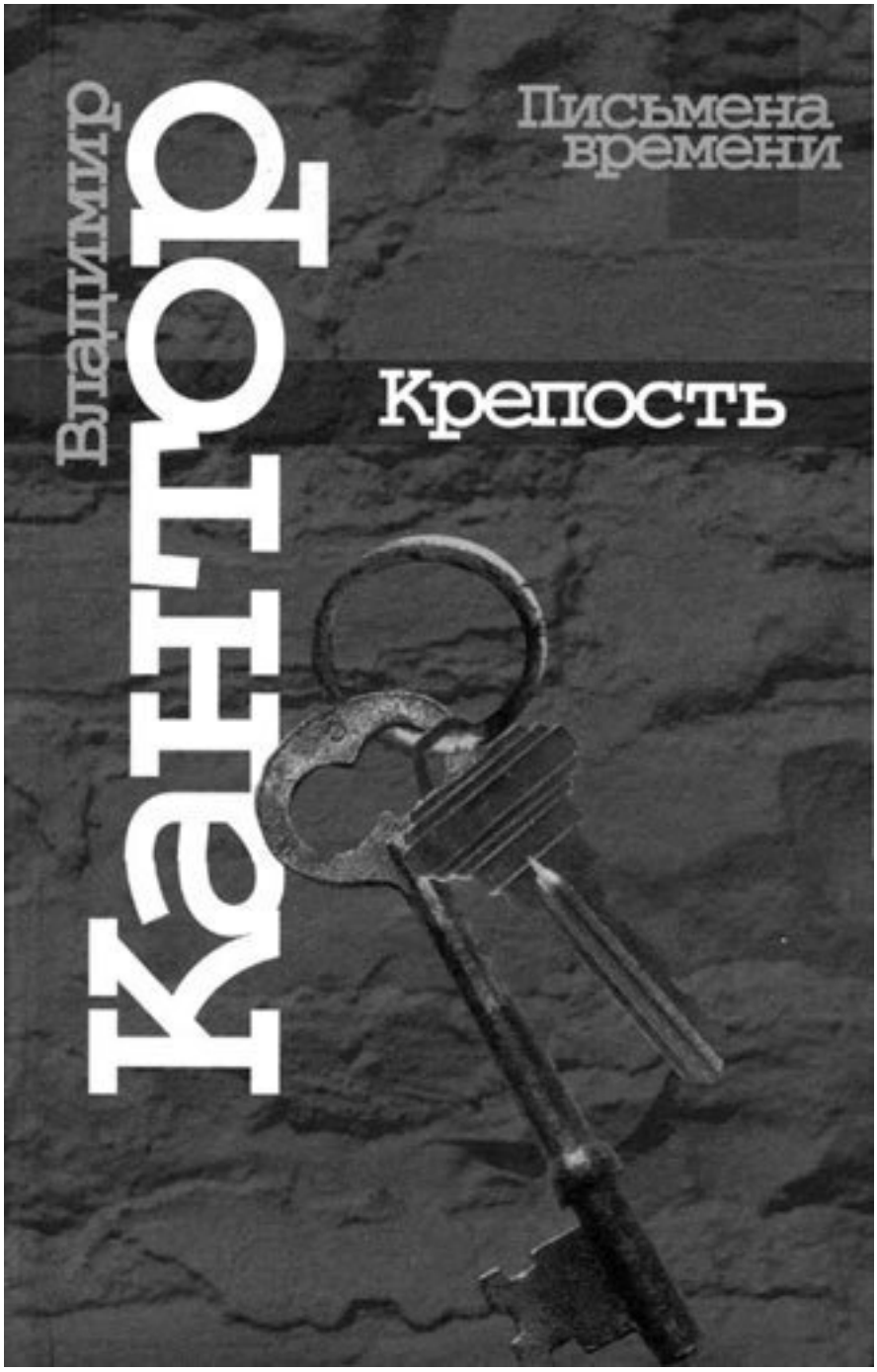
С ним прощались в 1966 г. в ЦДЛ, я еще вернусь к этому сюжету. Выступали писатели и говорили, что главную книгу Алеша не написал. И тогда генерал из военной разведки вдруг сказал: «Нет, написал, но вы ее никогда не прочтете». Название книги знал отец (хотя и он не читал). Книга называлась «Искусство перевоплощения». Никогда и я ее не видал.

Пока же речь шла о том, что цензура не пропускала рукопись, поскольку трудно было объяснить, почему советский майор знает такие точные детали мексиканского быта. Дядя Алеша острил: «Я им предложил, чтобы книга вышла под псевдонимом АЛЬПАКО. То есть так якобы зовут реального автора – мексиканца АЛЬПАКО. Но дальше слова: “В переводе Алексея Павловича Коробицина”. Смеются, но отказываются». Шутка и впрямь была прозрачна, хотя для дураков, может, и не очень понятна. Книга все же вышла под его именем, может, военное начальство прикрикнуло на писательскую цензуру – не знаю.

АЛЕКСЕЙ
КОРОБИЦИН
ЖИЗНЬ
в рассрочку

Но лето кончилось, и теперь видел я любимого дядю не чаще двух-трех раз в год. А он и вправду был любимый дядя, тот человек, глядя на которого физиономия почему-то расплывалась от удовольствия и счастья. О его военных делах мы не говорили, он выпустил новую книгу «Хуан Маркадо – мститель из Техаса» (1962), где работал сюжет двойничества, о котором я позже писал в своих литературоведческих и культурфилософских текстах. Было два брата-близнеца, мексиканцы, но один, Хуан Маркадо, вырос в бедной семье, второй, Рикардо Агирре, – в богатой гасиенде. Во время восстания Хуана Маркадо его богатый брат спасает близнеца, попавшего в плен и должного умереть. И узнает тайну. А когда в бою с американскими войсками Хуан погибает, брат называется его именем, показывая родимое пятно, которое вроде бы отличало братьев. И только верные друзья понимают его героизм. Восстание

Хуана Маркадо продолжается. Думаю, что книга была написана столь искренно, ибо момент мужества и самопожертвования был, конечно, у героев от автора. В тот самый год я заканчивал десятый класс. Заканчивал скверно, у меня было две двойки в году (то есть переэкзаменовки) и тройка в году по поведению. Литератор меня хотел перевоспитать, да и все почему-то думали о моем перевоспитании. Очень часто вместо школы я шел мимо нее в Тимирязевской парк, гулял там и размышлял обо всем сразу О том, почему никто не желает дружить со мной так, как я хотел бы, как «три мушкетера», например. И чтобы был такой брат, как в романе дяди Алеши. Но младший хотел быть первым, а потому дружбы не получалось.



На мою удачу была введена одиннадцатилетка, поэтому у меня был шанс пересдать и остаться в школе. Двойки были по литературе и русскому языку. Идейные расхождения с учи-

телем решались просто. Вначале он играл в свободолюбивого преподавателя, требовал, чтобы мы с ним спорили. Придумал ШПТ, что значило школьный поэтический (потом полифонический) театр. Пытавшиеся играть в свободных приняли с восторгом полифонические представления о том, как Пушкина убил император Николай и как русская поэзия мстила за него. Правда, школьный остряк, хулиган и двоечник, вырезал на школьном столе: «Покупайте ДДТ и травите ШПТ». У литератора было много любимцев, быстро усвоивших советскую систему, – спорить, чтобы прийти к заданному учителем тезису. Сегодня его и называют «культовый учитель по литературе». К 80-летию выпустили книгу о нем, где я стою на первом месте среди его удач: «Его учительский путь в Москве начался в девятой специальной школе. Среди ее выпускников-гуманитариев – Владимир Кантор, Нина Брагинская, Татьяна Венедиктова, Марк Фрейдкин». Да, это была школа Юлия Анатольевича Халфина. Спорить было надо, но так, чтобы правота все равно была на стороне препа. За мои реальные несогласия я получил две двойки в году и обещание, что переэкзаменовку я никогда не сдам и пойду учиться в вечернюю школу. «Это будет для тебя хорошая школа жизни», – сказал он. Спасибо завучу, с которой я спорил, но у которой хватило соображения не давать мне волчий билет. Но на тройке по поведению в году Халфин настоял за то, что я «имел наглость временами отвечать ему резко и настраивать против него класс». Месть писателя всегда словесна. В романе «Крепость» я изобразил его как подловатого человека по имени Григорий Александрович Когрин (он же *Герц Ушерович).* Понятное дело, что антисемитских мотивов не было (даже наоборот), но мне хотелось показать, как человек строит из себя русского, даже православие принял. Когрин обвинил моего героя в покушении на него, хотя знал, что булыжник в него кинул местный хулиган. А он твердил, что русский народ не способен к злу, если его интеллигент не подучит, как Иван Карамазов Смердякова. Самое безумное в этой истории было, что весь класс считал, что лучше меня из одноклассников литературы никто не знает, что я больше всех читал. Такое простое нарушение логики преподавания явилось своего рода маленьким уроком жизни, что дело не в реальности, а в мозгах того, кто решает твою судьбу, в безумном решении начальника.

Но к этим двум двойкам решила примазаться толстая и рыжая англичанка Марья Ниловна, никем не любимая. За что меня она не любила, не знаю, я всегда был на неплохом счету. Но ведь переправить четверку на двойку в общем ажиотаже можно. Встретив меня в коридоре, спросила: «Что, Кантор, скоро расстанемся? Больше в школе не увидимся?» Уже в полном отчаянии от всех своих неприятностей, я неожиданно сострил, довольно зло: «А что, Мария Ниловна, вас из школы увольняют?» Она остолбенела, а я, получив маленькую сатисфакцию, поехал домой.

Дома ждал меня непростой разговор, хотя отец готов был меня поддержать. Но крестьянское начало мамы требовало, чтобы, даже не соглашаясь с барином, все равно участок выкосить как надо. Изгнанная дважды с работы, она принимала как должное – не протест, а противопоставить несправедливости – работу. В университете она занялась генетикой по совету друга деда и нашего соседа по дому Антона Романовича Жебрака, известного биолога. Надо сказать, мама нервничала поначалу, но дядя Алеша, который оказался в тот момент в Москве, вывезенный из гомельских лесов, сказал, что она справится, что отец (то есть мой дед) направил ее к хорошему человеку. Но мама, уже решив что-то, делала, так как полагала, что лучше никто не сделает; она, выражаясь языком характеристики, «проявила себя как хороший исследователь», ее хвалил сам Раппопорт. И потом именно за это она и была уволена как любимая ученица знаменитого российского биолога-генетика Иосифа Абрамовича Раппопорта, одного из основоположников отечественной генетики, выступившего на знаменитой «августовской сессии ВАСХНИЛ» 1948 г. против Лысенко. Надо добавить, что Раппопорт прошел всю войну, был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова. За боевую операцию по

соединению с американскими союзниками был представлен к званию Героя Советского Союза, вместо этого был награждён орденом Отечественной войны, а также получил американский орден «Легион Почета». Что, наверно, впоследствии вызывало подозрения. В 1949 г. за несогласие с решениями сессии ВАСХНИЛ Раппопорт был исключен из ВКП(б). Он был едва ли не единственный, кто осмелился выступить против сталинского биолога Лысенко. А маму просто выгнали с работы, она пошла чернорабочей. Хотели восстановить эменесом, но потом оставили в 1949 г. на той же работе – в Главном Ботаническом саду копать, корчевать и пр., за то, что не согласилась поменять еврейскую фамилию мужа Кантор на девичью русскую – Колобашкина. И еще одно добавление. Когда мама вернулась в науку, поступив на работу в Институт садоводства в Бирюлево (НИЗИСНП), она вывела новый вид (соединение земляники и клубники) – земклунику, очень любимую одно время дачниками, так вот самый популярный сорт она назвала «РАПОРТ», в честь Раппопорта. Это был знак любви и признательности, мать умела быть благодарной за науку. Об этом говорится сегодня в биологических справочниках, цитирую статью под названием: «Что за чудо, посмотри-ка – созревает ЗЕМКЛУНИКА»: «В 70-х годах прошлого века селекционеру Татьяне Сергеевне Кантор удалось получить уникальный гибрид. Гибрид между клубникой мускатной и земляникой садовой крупноплодной. <…> Татьяна Сергеевна Кантор ушла из жизни, так и не успев официально зарегистрировать эти сорта. Тем не менее они радуют садоводов вот уже четвертый десяток лет. <…> Во Франции получен землянично-клубничный гибрид под названием Ville de Pari»[1]. Стоит зайти на сайт «Земклуника», где многое рассказывается. Правда, как и учителю, ей за ее открытие досталось от начальства. Когда маму начали приглашать во Францию французские коллеги-селекционеры, ее еще до выслуги пенсионного возраста уволили, сильно сократив тогдашнюю пенсию, земклунику объявили достижением Института садоводства, а на международные конференции начал ездить директор. Правда, названия сортов поменять он не посмел. Мама же, чтобы выработать нужный пенсионный срок, на старости лет снова последний год отработала чернорабочей. И директор Василий Григорьевич Трушечкин (кстати, тоже участник войны с наградами, о которых теперь не знаю, что и думать) не постеснялся ее взять на эту должность именно в том институте, где было сделано открытие.

Начальство у нас всегда умело использовать людей, нечто сделавших, но по возможности не давало шансов на личный успех. Прямо по Высоцкому: «Кому сказать спасибо, что живой?!» В нашей истории всякое бывало. Но вернусь к своей переэкзаменовке.

[1] М. Воробьев, биолог. http://wwwsotki.ru/mdex.php?option=com_content&view=article&id=977:2012-10-29-08-24-26&catid=51:top

Татьяна Сергеевна Кантор, мама.

Разговор получился, слава Богу, в смягченных тонах. Отец и дядя Алеша пили армянский коньяк под лимон, мама готовила чай. У обоих глаза были совсем не строгие. «Да ладно, Карл, – сказал дядя Алеша, – вспомни, какие мы были. Как ты из лесной школы в Испанию сбежать пытался. А как я в порту дрался. Меня же привезли в матросском костюмчике, и меня тут же в порту, избили и раздели, а я дубиной огрел местного начальника, потом почти голышом до нашего отца бежал. А ты англичанке остроумно ответил, молодец». «Ну, хорошо, – сказал отец, уже немного хмельной, – с литературой я понимаю, но почему все же тебе чуть пару по-английски не вкатили?». Я снова пересказал свой, как мне казалось, остроумный ответ и добавил, что по-английски на уровне школьной программы я вполне понимаю. Дядя Алеша ухмыльнулся. «Ты считаешь, что это и есть знание языка? Язык требует вживания, ты в нем себя должен как в своей одежде чувствовать». «Как это?» Тут у меня мелькнуло соображение, что я получу сейчас какой-нибудь шпионско-лингвистический урок. Дядя Алеша сидел немного размягченный, бутылка армянского конька была наполовину выпита. «Необходимо то, что я называю лингвистическим нахальством. Надо говорить так, будто ты понимаешь. Я так немецкий выучил». «Как это? А вы разве не немца там играли?» Он покачал головой: «Иногда. А

тогда я был мексиканским подданным. Да, если уж вспоминать, ситуация была плачевная. Я уплывал последним пароходом из Гамбурга. И вдруг эсэсовская проверка. А документы мне приготовили немецкие подпольщики, это была такая липовая работа, что мне самому страшно было глядеть на них. Тем более показывать эсэсовцам. И когда предложили сойти провожающим на берег, я вылетел на берег. Надо было что-то решать, мысль в тревоге работает быстро, если ты не трус. Я взял такси и поехал в мексиканское консульство. Там сидел, как всегда пьяный, консул. Он мне протянул стакан текилы (есть такой хмельной латиноамериканский напиток). Я отказался и начал орать на него, что он не исполняет своих прямых обязанностей, что на паспорте до сих пор нет мексиканской визы. А мексиканская виза со всеми ее картинками занимала как раз две страницы. Он лениво шлепнул визу, прикрыв как раз две сомнительных страницы. И я смело вернулся на корабль. Все обошлось».

Примерно на этих словах беседа переползла на другие темы. А я дал себе слово учить иностранные языки как следует. Прошла пара лет, я поступил на вечернее отделение филологического факультета МГУ, фамилия понизила мне проходной балл, вместо 20–18. Это тоже выглядело занятно. Я понимал, что шансов с моей фамилией попасть на филологический у меня маловато, шел 1963 год. Первый экзамен – сочинение, в этом я был уверен, с подросткового возраста заставив себя помнить всю орфографию и синтаксис, учителя говорили, что у меня абсолютная грамотность. Потом английский, который, помня слова дяди Алеши, я учил днем, утром, вечером, слушал пластинки, читал все, что попадалось под руку. И английский я сдал на отлично. История тоже – отлично. Оставалась устная литература и устный русский. Билет достался удачный, и по литературе, и по русскому языку темы я знал. Я все ответил и видел, что принимавшие были довольны. «А что у вас за сочинение?». И достала мое сочинение из лежащей стопки. Оценка была – тройка, удовлетворительно. «Ну, вы понимаете, что больше четверки мы поставить вам не можем». Следующий день был день, когда можно было опротестовать оценки. Я пошел выяснять по поводу сочинения. Доцент достала мою тетрадку, протянула мне: «Сами смотрите». Замечаний не было ни на одной странице, ни одна строчка не была подчеркнута, нигде знака вопроса, но в конце сочинения выведена красными чернилами тройка. Я ошалело показал на оценку и на отсутствие замечаний. Дама-доцент даже покраснела, взяла мой экзаменационный лист, увидела две пятерки и четверку. Очевидно, у нее было разрешение повышать на балл. И я получил четверку, и так обрадовался, что дальше права качать не пошел. Опыта не было. Мог и пятерки добиться. Тогда учился бы на дневном, а так и то с помощью отцовского коллеги с трудом попал на вечернее. Просто не было указания, что брать нужно тех, кто на самом деле знает что-то.

Дяде Алеше мне рассказывать не хотелось про это. Уж он бы настоял на своем. Так мне казалось. Почему-то я не задумывался, как это он, такой умный, ловкий, еще не старый, был отправлен в отставку. Но все же разговор состоялся через месяц после поступления.

Через месяц некоторых студентов начали вызывать в особый отдел на собеседование. Меня тоже вызвали, но на вопрос, кто мой любимый писатель, я, как всегда честно, ответил: Достоевский, особенно «Преступление и наказание» и «Бесы». Потому-де, что там рассказано многое, что заставляет задуматься. «Молодец, – сказал молодой чиновник в пиджаке и галстуке, – думай, это полезно. Но все же не забудь, как Фадеев изобразил в “Разгроме” интеллигента Мечика, изобразил как предателя. Вот эту предательскую интеллигентскую суть должен ты в себе вытравлять». Потом ходили по очереди мои однокурсники. А вечером Мишка П., с которым я за этот месяц сдружился, родственник известного литературоведа, шел со мной до метро «Площадь Революции», все что-то хотел рассказать, наконец, у метро отвел в сторону. «Вовка, разговор есть, – он нервничал, потел, протирал очки, но хотел выглядеть значительным. – Знаешь, что мне в особом отделе предложили работать с ними, рассказывать о сомнительных разговорах и тому подобное. Представляешь, какой они нам дали шанс! Не рассказы-

вать ничего реального, а придумывать разговоры и вкладывать их в уста сволочей. Понял? Это же удача!». Я тупо молчал, потому что растерялся. Потом сказал: «Но это же можно и невинного оклеветать!» Мишка возразил: «Не невинного, а негодяя».

Я ехал домой в смутных мыслях. В чем-то Мишка казался мне прав, но отчего-то было страшновато, хотя вроде бояться было нечего. Но не хотелось только руку в пасть крокодилу вкладывать, откусит ненароком. Дома неожиданно оказался дядя Алеша, который сказал: «Слышал о твоих неприятностях. Но поверь, это пустяки, о которых не надо даже думать. Или у тебя еще проблемы?» Мама повела нас на кухню, где расставила чашки, налила чай, вынула коробку конфет, насыпала в плетеную из тонкой витой проволоки корзиночку разные сорта печенья. Прихлебывая чай, он улыбался и поглядывал на меня. «Ну?» И я рассказал про особый отдел, про разговор с Мишкой и наши рассуждения, что, вступив в контакт с органами, мы можем принести пользу друзьям. И вообще интеллигентным людям. Папа вопросительно посмотрел на брата:

«Алеша, здесь нужен твой совет. А то я такого наговорю, что лучше не надо».

Он явно нервничал.

«Карл, не суетись, на все есть житейский опыт, у меня он был неплохой. Думаю, у тебя такого не было. Из любой ситуации надо искать выход, а не идти напролом».

И ко мне:

«Вовка, ты что-то ему обещал или только слушал?»

«Только слушал».

«Ну вот и молодец. Ума хватило. Теперь меня послушай. История немного другая, но важен принцип. Думаю, у тебя и здесь хватит ума этот принцип извлечь из моего рассказа».

«Я постараюсь».

Потрогав указательным и средним пальцами свои небольшие латиноамериканские усы, как он делал, когда не то нервничал, не то думал, как лучше сформулировать. «Я расскажу историю 1947 года, я только что вернулся из очередной *командировки,* думал пару месяцев отпуска получить, но меня вызвал командир и показал список арестованных и расстрелянных, ГБ не любила военную разведку. Но, глянув на мою усталую физиономию, сказал, что, так и быть, он мне два месяца даст, но чтобы я был осторожнее, а потом отправит сразу на следующее задание».

Вообще сегодня думая, как они сражались с немцами, ожидая каждый момент удара в спину от своих, и сражались, и верили… Какой-то изврат сознания. Но это пустые рассуждения. Продолжу его рассказ:

«И тут вызывают меня в органы. В кабинете меня встретил полковник из органов, называл даже не товарищ майор, а Алексей Павлович. И сказал, что они внимательно “ознакомились с моей работой и очень мою работу ценят. Поэтому они хотели бы, чтобы я и с ними поработал. Ведь на одну страну работаем”. Я ответил, что это большая честь, но я хотел бы несколько дней для обдумывания предложения. “Конечно, конечно. Недели вам хватит?”. Я ответил, что хватит. Через неделю я пришел и сказал, что абсолютно согласен. Он так посмотрел на меня и спросил: “Ваше решение серьезно? Не передумаете?” И я простодушно ответил: “Конечно, нет. Я посоветовался с моим начальством, и мне разрешили!” Он даже подскочил: “Вы что наделали. Вы же подписку давали о неразглашении нашего разговора”. Я честно ответил, что никакой подписки я не давал. “Да, – спохватился инструктор, – я с вас не брал такой подписки. Но мы же знаем, в какой структуре вы работаете, вы это сами должны были понимать!” Я пожал плечами: “Но вы же тоже должны понимать, что, работая в ТАКОЙ структуре, я не мог не поставить в известность о вашем предложении мое начальство”. Он махнул рукой: “Ладно, вы свободны!” и я ушел, ПОНИМАЯ, что меня ждут неприятности. Но я также пони-

мал, что предложение о совместной работе означало то, что я должен был доносить на мое начальство».

Как написано в одной из бумаг о нем, в 1947 он вынужден был из военной разведки уволиться из-за отказа перейти в МГБ. Но ушел он позже, после 1949 г., когда космополитизм коснулся всех. Правда, дядю Алешу, по его обмолвкам, отправили в другую командировку, и до 1955 г. он был мексиканским консулом в США в штате Кливленд. Но твердых данных на такого рода людей нет.

Тут я немножко и даже не немножко отступлю от последовательности изложения. Как сказано в воспоминаниях Владимира Никифоровича Ващенко, работавшего с дядей Алешей в конце войны, а впоследствии (в 1977–1989 гг.) ставшего вице-адмиралом и замначальника ГРУ Генштаба, «в конце мая 1942 г. с подмосковного аэродрома взлетел самолет, на борту которого находилась разведывательно-диверсионная группа. Ее командир – Алексей Павлович Коробицин (псевдоним – “Лео”) – имел на руках паспорт, якобы выданный Минским отделением милиции на имя А. П. Кораблёва». Далее дается советский нежный вариант того, что произошло, где все советские люди готовы были помочь друг другу. Приведу рассказ непосредственного участника истории – моего дяди, тем более что он отчасти совпадает с предисловием Юр. Королькова к книге «Тайна музея восковых фигур».

Дядя Алеша отхлебнул чай, потом сказал: «Дело, конечно, не в месте, где человек работает, хотя отпечаток есть. Но меня однажды спас от смерти человек, курировавший от Органов Советское радио во время войны. Это когда я партизанил. Как и все в жизни, начинается любой эпизод в жизни с большой неприятности. Нас должны были выбросить в один район Белоруссии, но летчик промахнулся, слишком сильно с земли по самолету немцы били, и выбросил где смог. Это были гомельские леса. У меня был радиопередатчик и двое сослуживцев, но очень неудобные в гомельских лесах. Один – немец-спартаковец, ротфронтовец, другой – австриец-коммунист. И все бы ничего, но ни один ни слова по-русски не говорил, кроме «да здравствует товарищ Сталин». Да на беду мы еще были и в форме эсэсовцев. Мы даже парашюты зарыть не успели, как нас местные лесовики схватили и собирались расстрелять, а одежонку нашу поделить. Они обсуждали, не подозревая, что я-то все понимаю. Послушав, я понял, что надо что-то быстро говорить. И я сказал: «Вы, бляди, совсем оборзели? вам давно никто муде не драл? Хотите, сучары? Могу устроить!» Мужики опешили: «Чего? Свой, что ли? А чего фрицевские тряпки нацепили на себя?» Дело испортили немцы, закричавшие «рот фронт!» и что-то в этом духе. Мужики, называвшие себя партизанами, одетые в полушубки и валенки, с винтовками и охотничьими ружьями через плечо, скрутили их и потащили куда-то через кусты, говоря, что командир с ними разберется. Как сказал дядя Алеша, а я ему поверил, много пряталось по лесам мужиков, которые и воевать не воевали, но считали себя вправе забирать продукты от крестьян для поддержки своей боеспособности. Нас притащили в землянку, где за столом сидел уже немало выпивший командир и сказал: «Раз есть рация, пусть передадут в Москву, что отряд под командованием такого-то уничтожил столько- то живой силы, техники, пустил под откос три поезда». Дядя Алеша пытался возражать, что у них другое задание, что такой информации от них не ждут. Тогда командир приказал привязать их к деревьям и расстрелять. Стреляли, правда, над головами, а потом бросили в яму, куда два раза в день кидали им хлеб, опускали кувшин воды, а по вечерам расстреливали. И срок им дали трое суток. Если через трое суток Совинформбюро не передаст нужную информацию, их расстреляют. Радиограмму пришлось передать, и дядя Алеша подписался суперсекретным псевдонимом «Лео». Это был псевдоним на случай ЧП. Но начальство не сочло их ситуацию ЧП. «Мы Алексея с другим заданием посылали, и этой информации от него не ждем». А в гомельском лесу их расстреливали каждый вечер. Иногда командир, кроме кружки воды, предлагал кружку самогона. Но дядя Алеша как начальник маленькой группы это запретил. Так и жили в ледяной земляной яме три дня. На третий день их вытащили в землянку, посадили за стол со связанными руками.

Перед ними сидел густобородый командир с помощниками, стояла бутыль самогона, лежали пласты сала, а еще перед каждым лежали пистолеты. В центре стола стоял радиоприемник, рядом радиопередатчик разведчиков. Как говорил дядя Алеша, все они были бледные и напуганные, разведчики, ожидая близкой смерти, а партизаны не были до конца уверены, тех ли они собираются расстрелять, и не придется ли отвечать за это собственной шкурой, если приедут другие представители с Большой земли. Уже после рассказа я вспомнил роман Хемингуэя «По ком звонит колокол». Как американец попадает в испанский партизанский отряд, где оказывается чужим, хотя пришел с заданием от республиканского руководства.

Пробило двенадцать часов. Последняя сводка от Совинформбюро. И вдруг голос Левитана сообщает, что в гомельских лесах такой-то партизанский отряд под командованием такого-то командира уничтожил… живой силы, техники и пр. Произошло волшебное превращение, им развязали руки, принялись лебезить, кормить и поить. Это было чудо, но созданное человеческими руками. Когда радиограмма была получена в Ставке, начальство учитывать просьбу Лео не пожелало. На счастье в тот момент в кабинете был друг дяди Алеши, который осмелился вмешаться в разговор: «Но раз Алеша просит, значит это ему нужно для какой-то игры. Мы все его знаем и знаем, что попусту он такой текст не пошлет». Говорившего не послали, поскольку он принадлежал другой организации, которая по негласному соглашению была выше других. И дядя Алеша сказал: «Дело не в организации, а в человеке. Организация портит, но человек может оказаться сильнее. Вот и подумай, сможет ли твой друг сделать то, что сделал Митяй? Что же о начальстве, то у начальства всегда мозги плохо вращаются». И начальство сказало Митяю, что его ведомства эта проблема не касается, что они сами разберутся. Единственное, что сумел сделать Митяй – переписать радиограмму и с тем уйти. А потом он пошел в контору Совинформбюро и стал просить их передать текст. От себя, по его просьбе, без разрешения начальства. Разумеется, те отказали. И тогда Митяй купил себе батон и несколько пачек кефира и остался жить на лестнице Совинформбюро. Постелил газеты на ступеньки – на них и жил, ел, спал, ночевал. Конечно, его давно бы выгнали, если бы не удостоверение Органов. Но и то – они звонили регулярно его начальству. Но там махнули рукой, дружбу, как ни странно, и они уважали. Но Митяй не просто спал, четыре раза в день он заходил в рубку Совинформбюро и снова выкладывал перед ними записку с данными. Каждый раз усиливая натиск, понимая, что время уже делится не на дни, а на часы, даже минуты. И он победил. В последние минуты передача была сляпана и вышла в эфир.

Еще, может быть, важнее недавно найденное мною в семейном архиве письмо дяди Алеши своему отцу, моему деду. Это, конечно, голос советского человека, понимающего опасность перлюстрации писем, особенно человека, работающего в ГРУ. Но вместе с тем здесь звучит и вера в написанные им слова. Добавлю, что письмо написано перед выброской в гомельские леса, о чем говорится скупо и спокойно. О своем задании, разумеется, он не говорил, это теперь только понятно, куда он летел.

«Москва 21 мая 1942 г.

Дорогой папа!

Я с удивлением узнал из письма Зумруд о том, что ты не получил моего письма, которое я послал тебе после моего приезда, и, конечно, вполне разделяю твою обиду на меня в связи с моим молчанием (вернее – отсутствием писем). Папочка! Это верно, что я невозможный человек в отношении моей корреспонденции, но значит ли это, что я забываю или недостаточно люблю своих родных и знакомых? Я думаю, что нет. Одним словом – моя корреспонденция обратно пропорциональна моим чувствам…

Давно, очень давно мы с тобой не видались – более трех лет. За это время пережито нами столько, сколько не расскажешь в течение столетия. Но приятно сознавать, что мы

не только переживаем – мы делаем историю. Каждый из нас вписывает заметную страницу в Великую Историю Отечественной Войны.

Я переписывался с Карлом, моим замечательным младшим братом, и могу тебе только сказать, что горжусь им. Я как никогда горжусь моим братом-героем, моим дорогим, любимым Лёвочкой, который погиб геройски. Я горжусь его женой Валинькой, занявшей его место на пароходе. Я горжусь Сашей, его храбростью, проявленной в боях, тобой я горжусь, потому что ты даешь стране больше, чем может дать твой организм. Я горжусь каждым красноармейцем, каждым советским гражданином – всей страной. Ну разве можно заставить пригнуть голову такой гордый народ??

Очевидно, идиоты из Берлина не учли, что мы – гордый народ. Да и что ожидать от работы эрзац-мозгов.

Папочка! Я послезавтра уезжаю в командировку, где пробуду, вероятно, остаток 1942 г. Писать я к вам не смогу, да и получать письма тоже. Новости обо мне сможет передавать изредка Саша. Целую тебя крепко – до счастливой встречи. Большой пламенный привет Иде и Зумруд с ребятами.

Алеша

Здесь многое требует пояснения. Но я поясню, повторив уже написанное с неким расширением. Дядя Лёва, капитан морской пехоты, закрыл, как Матросов, грудью немецкий дзот с пулеметом, по интеллигентскому миропониманию не решившийся послать на подавление дзота своих матросов.

Продолжается рассказ дяди Алеши: «Дальше начались другие проблемы. Нам пришлось влиться в отряд, где командир хотел прятаться, а не воевать. Но пришлось, отряд окружили. Воевать он не умел, в первом бою и погиб. Большая земля потребовала, чтобы я принял командование. Если ты когда-нибудь прочтешь роман “По ком звонит колокол” Хемингуэя, там был американский разведчик Роберт Джордан, которого послали к партизанам помочь в борьбе с франкистами, история романтическая, но невеселая. Мост он взорвал, но погиб. Я не погиб, но еле живой был вывезен на Большую землю. Привезли в госпиталь, который тогда находился в здании Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, где до войны работал твой дед. А моя Мария, майор медслужбы, ты ее знаешь, стала моей женой. Да, ее звали очень строго: Виолетта Николаевна».

Вообще, имена жен моих дядей были экзотические. Скажем, у старшего, Саши, – была Зумруд.

А вот данные об этом периоде жизни в одной из его характеристик:

«А в апреле его, в звании старшего лейтенанта, включили в разведывательную группу “Лео”, которая должна была действовать в немецком тылу. Командовал группой Алексей Коробицин, его старый знакомый еще по Мексике. В ее состав, кроме Коробицина (“Лео”) и Кравченко (“Панчо”), входил радист Г. Антоненко (“Поль”) и два австрийских антифашиста – И. Штейнер (“Тарас”) и М. Ляйтнер “Максим”). Это их едва не погубило.

В июне 1942-го группа была сброшена в районе Чечерска Гомельской области. После высадки “Лео” должен был встретиться с командиром партизанского отряда. Однако группа сбилась с дороги и вышла хоть и к партизанам, да не к тем. Узнав, что среди разведчиков есть австрийцы, партизаны арестовали группу. Двенадцать дней их держали под арестом, требуя признаться, с какой целью немцы забросили их в лес. Все утряслось, после того как партизаны связались с Москвой.

Восемь месяцев и одну неделю отряд успешно действовал в тылу врага. Так, например, 15 ноября 1942 года “Лео” передал в Центр: “Группа под командованием моим и Панно совместно с отрядом Федорова занимается диверсионной работой. Пущены под откос 11 воинских эшелонов, уничтожено 5 грузовых, 11 легковых машин. Убито 1 485 солдат и офицеров, ранено 327 офицеров, в том числе генерал войск СС и подполковник”.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.